



Фёдор СТЕПУН

Из писем артиллериста-прапорщика

К матери. 12 сентября 1914 г.

Иркутск

...Ты, конечно, страшно огорчаешься, что я так мало пишу. Каюсь очень, но писать страшно трудно. Наша служба усерьезилась. Вставать приходится в шесть. На обед вместо трех часов теперь полагается два. А езды с батареи домой и обратно шесть верст. Дорога ужасная: бесконечные дожди и глинистая почва. Домой приезжаю поздно, в семь вечера, усталость испытываю эпическую. В последние дни я уже в девять ложился спать. На днях был дежурным, должен был два раза в сутки объехать верхом посты и караулы всех батарей. Один объезд разрешается дневной, другой предписывается ночной. Расположены батареи на большом пространстве друг от друга, по кругу будет верст двенадцать. Кроме того, в ночь моего дежурства на берегу Ангары был убит солдат, а в городе тревожный набат оповещал о пожаре. Я качался в седле, разыскивая убитого и поверяя караулы с одиннадцати вечера до пяти утра, и это после того, что я уже днем ездил с четырех до восьми.

Переношу я все это с абсолютной легкостью. Верховая езда, даже и при этих условиях, доставляет мне большое удовольствие. Как хорошо, что ты возлюбила цирк, когда я должен был появиться на свет Божий, и как хорошо, что я в свое время служил в артиллерии. Эти два обстоятельства делают для меня настоящую жизнь не только терпимой, но в известном смысле даже и приятной.

Но была у меня и одна забавная неприятность: за «бестактный» ответ и «развращающую армию» улыбку я был посажен после смотра на сутки под арест¹. Из этого сообщения ты не заключай, что я особенно скверный офицер или что у меня плохие отношения с сослуживцами и начальством. Напротив, офицер я приличный, все больше вхожу в службу, отношусь ко всему, не в пример лагерному сбору, серьезно

и внимательно и стараюсь вполне приготовить себя к той тяжелой и ответственной роли, которая может в наши дни выпасть каждому из нас на долю. Отношения же с сослуживцами и непосредственным начальством у меня прекрасные. Что же касается упомянутого случая, то мою участь разделил со мною и мой батареиный командир, ибо... но ибо на ухо.

Странная и совсем непонятная вещь война. Мы готовимся к выступлению, а временами кажется, что организуется пикник. Вчера офицер, заведующий у нас в батарее хозяйством, ездил в город и закупил разных вещей для похода: чайник, сахарницу, ножи, вилки, кружки... Привез все и радуется, — хорошее все, новое, блестящее, практичное... Он радуется, и мы радуемся. Для чего все это — мы знаем, но зная — не понимаем, и силясь понять — понять не можем.

Иногда по вечерам мы с Андреем Викторовичем занимаемся артиллерийской премудростью: то вычисляем математические формулы, углы, базы и кривые, то упражняемся практически. Я изображаю орудие, а он зарядный ящик, и вот мы крутимся по комнате, исполняя всевозможные повороты, отъезды и подъезды. Он стриженный машинкой, я коротким бобриком, какой носил в школе, оба мы без поясов, в ночных туфлях... Наташа сидит и хохочет, говоря, что мы похожи на маленьких мальчиков, играющих в лошадки, — мы тоже хохочем, хотя и знаем великолепно, что все наши опыты и размышления направлены на то, как бы найти систему таких умений и приемов, при осуществлении которой застонут и закричат одни люди, называемые немцами, и не застонут и не закричат другие люди, которые называются русскими.

Бывают, конечно, минуты, когда ужасный смысл написанной мною фразы воистину понимается, но такие минуты очень редки.

Обыкновенно же последняя цель и сущность войны совершенно так же заграждается и оттесняется целым рядом предпоследних мыслей, действий, событий и мероприятий, как ими же и в мирной жизни заграждается и оттесняется все то, что есть Жизнь жизни, ее последнее и сущностное ядро.

Ужасна война, как материальный факт — как ряд стонов, криков, скрежетов, как миллионы открытых кровоточащих ран, которые будут смотреть на небо с такою же непонятною естественностью, с какою звезды смотрят с неба на землю, — как химическое перерождение земли от всюду сгнивающих в ней человеческих и животных трупов. Поверишь ли, иногда я так ярко чувствую, как вся земля мыслит свою упорную кладбищенскую думу.

Но все же этот ужас материального плана еще не самый страшный. Страшнее той смерти, которую сеет война в материальном мире, та жизнь, которую она порождает в сознании почти всех без исключения людей. Грандиознейшие миры упорнейшей лжи возвышаются

ныне в головах всех и каждого. Все самое злое, грешное и смрадное, запрещаемое элементарною совестью в отношении одного человека к другому, является ныне правдою и геройством в отношении одного народа к другому. Каждая сторона беспамятно предаёт проклятию и отрицанию все великое, что некогда было создано духом и гением враждующей с нею стороны.

В России неблагодарное забвение того, что сделала германская мысль в построении русской культуры. Бездарное и безвкусное переименование Петербурга Петра и Пушкина в Шишковско-националистический Петроград².

В Германии, стране философии и музыки, еще того хуже, еще того преступнее и позорнее. Немецкие журналисты и писатели протестуют против переводов на немецкий язык величайших произведений враждующих с Германией сторон. Немецкие ученые отказываются от почетных знаков, дарованных им научными институтами Франции и Англии. Немецкая армия безумно и бездарно расстреливает величайшее произведение искусства, собор в Реймсе³, изменяя тем самым той благодарной «вечной памяти» потомства, которую мы обещаем нашим любимым покойникам, когда отпетое церковью тело опускаем в открытую землю.

Но это еще не все. Более, чем вся эта ложь, смущает и мучает меня та *тьнь правды*, которая ныне, очевидно, лежит на всей этой лжи.

Правда же эта заключается в том, что вражда к врагу рождает громадную любовь к своему народу, к своей родине. Сейчас у нас, наверное, и в Германии тоже, действительно наблюдается такое преодоление косности, своекорыстия и эгоизма, о котором в мирное время даже и подумать было невозможно.

Не ложь, а правда в том, что ныне многие радостно отдают часть своих удобств и средств в пользу раненых и семей запасных. Не ложь, а правда в том героизме, с которым ныне многие переносят раны, смерть и безвестную пропажу своих дорогих и близких. Не ложь, а правда, великая сердечная правда чувствуется ныне отчетливо во всем настроении России, трезвой, сознательной и бескорыстной; чувствуется в толпе, провожающей эшелоны, в вечерней молитве солдат: «Спаси, Господи, люди Твоя»⁴, в тех цветах, которые население несет отправляющимся на войну солдатам и офицерам, в тех белых лентах, которыми завязаны эти цветы, в надписях на них: «Спаси вас Господь».

Это письмо я пишу, т. е. продолжаю писать на гауптвахте. Поговорив о войне, перейду к миру. А мир был так прекрасен в понедельник девятого сентября. Но расскажу все по порядку. В понедельник, хотя онный день и был праздничным днем, были назначены занятия, и мы все трое встали в шесть утра и в семь сидели и пили кофе, в ожидании верховых лошадей. За окнами уходило ввысь и вдаль глубокое, синее, холодное осеннее утро. Сидели мы и ждали, ждали и пили, а лошадей

все нет и нет. Тут Наташа выразила легкомысленное предположение о возможной отмене занятий. Недолго думая, мы послали денщика к телефону и велели ему позвонить в батарею. Через некоторое время он вернулся с солидным оправданием нашего легкомысленного предположения. Итак, перед нами расстилался свободный от занятий день. Мы решили ехать на Байкал. Но как? Поезда отменены, ибо дорога занята военными эшелонами. Хотели на извозчике — просит пятьдесят рублей и может подать только часам к двенадцати дня — поздно... Автомобиль не везет — грязно. Моторная лодка говорит, что ей ходу вверх по Ангаре часов восемь... Итак, дело почти гибло... Но нам страшно хотелось попасть на Байкал, а потому мы все же поехали на вокзал. Приехали, и все устроилось как нельзя лучше. Узнали, что через час на Байкал отходит пустой состав товарного поезда. Мы к начальнику станции, к коменданту... разрешили. Выбрали мы себе чистый вагон, попросили его выместить, поставили два пустых ящика, положили на них два овчинных кондукторских тулупа и открыли с обеих сторон пролеты. Поезд тронулся. Погода была изумительно хорошая. Дорога до самого Байкала идет все время по горному берегу то сливающейся в одно русло, то дробящейся на отдельные рукава и усыпанной луговыми и лесными островами Ангары. Краски не поддаются никакому описанию: светло-зеленые лиственницы (их тут очень много) и темно-зеленые сосны; сильно желтеющие уже небольшие, горные, очень грациозные березы, изжелта-красные осины и еще какой-то здешний красно-малиновый кустарник. Воды Ангары, то темно-синие, то бледно-зеленые, настолько прозрачны, что на глубоком дне с движущегося поезда порою виден каждый маленький камешек. Ехали мы часа два с половиною и стали подъезжать к самому Байкалу. Уже издали потянуло какою-то особенною, морскою, бодрящею свежестью. Вода в Ангаре посинела и потемнела; прибрежные ангарские горы стали расступаться, и вдруг прямо на нас глянул громадный темно-синий Байкал со снеговою горною цепью на противоположном берегу.

Приехав на станцию Байкал, мы стали подыматься по лестнице на гору к прибрежному маяку. Поднялись мы на тысячу ступеней, перешли затем на ту гору, под которой Байкал переливается в Ангару, и долго смотрели во все стороны. Направо море (в одном направлении берега не видно) и снежные горы; налево — прекрасная речная долина, стесненная живописными лесистыми холмами. Над головой бесконечное синее небо, а под ногами у зеленого ската, на маленьком желто-сизом треугольнике земли какой-то игрушечный вокзал, с игрушечными вагонами и заводными людьми и собаками.

Спустившись вниз, мы сели на небольшой, но крепкий и сильный пароход и поехали наискось в селение Листвяничное. Причалив к берегу, пошли вдоль по Байкалу и расположились на скалистом выступе прямо над байкальскими водами и прямо против снежных гор. Байкал шумел

своим вечерним приливом, как море. Краски на вершинах все время незаметно, но бесконечно менялись. Сначала горы были бледно-желтые и желто-оранжевые, затем они начали нежно краснеть, и над ними, как раскаленные мечи, вспыхнули в небе багровые полосы. Через несколько времени, тут и там, на горы стали ложиться синие и лиловые тени. Наконец, все умерло в лилово-черном сумраке. Сразу стало совсем холодно и жутко. В семь часов вечера мы возвращались на ст<анцию> Байкал уже по совсем черным водам. Теплый день казался словно не бывшим. Руки в теплой перчатке из козьего пуха невольно прятались в карман, и ноги в шерстяных носках сами плясали по палубе быстроходного пароходика. Тем же путем, но уже в неосвещенном вагоне четвертого класса, прицепленном к товарному поезду, возвращались мы в Иркутск. В усталой от многих впечатлений длинного дня голове, под стук колес, смугло проносились странные думы и образы. Грезилась та бесконечная Сибирь за вагонными окнами, в которую мы ехали из Москвы целых десять дней; вместе с гомоном поезда все еще слышался прибой «священного» Байкала. В углу две чиновничьи кокарды поносили Вильгельма за то, что он обещал немцам с честью вложить свой меч в ножны, и в памяти пылала солнечная над снежными вершинами мечи. Казалось, что Кант был глубоко не прав. Живи он не в Кенигсберге, а в Сибири, он наверное понял бы, что пространство вовсе не феноменально, а насквозь онтологично. На Байкале он, вероятно, написал бы не трансцендентальную эстетику, а метафизику пространства⁵. Эта метафизика могла бы стать для немцев ключом к пониманию России. Безумно мечтать о победе над страной, в которой есть Сибирь и Байкал...

По приезде в Иркутск мы решили поужинать на вокзале. На другом конце длинного стола ужинали два, как нам показалось, отставных стареньких генерала. Лакей прислуживал им с вдохновенной подобострастностью, но они привередничали, ворчали и недовольно тыкали своими вилками по целой стае окружавших их закусочных тарелок. Старческие глазки слезились, старческие носики морщились, сухие старческие руки привычным жестом расправляли бакенбарды. Не могу тебе передать, как было грустно смотреть на них: чувствовалось, что этим людям не оставалось в жизни ничего, кроме смерти. Уходя домой, я спросил у лакея имена генералов, и с ужасом услышал имена вождей, предназначенных вести нас в бой, имена начальника дивизии и командира бригады, еще ни разу не виданных нами.

Ну, вот тебе и картина Божьего мира в праздничный день артиллерийского прапорщика.

Что сообщить тебе о моей судьбе, право не знаю. Она темна, моя судьба. Определенно готовимся в поход. Одно время думали, что идем на днях. Теперь снова пока сидим, но все же, наверное, в ближайшие дни пойдем в Россию. Когда пойдем и зачем пойдем — тайна сия велика есть. Вот все, что могу написать. Пока кончаю...

К матери.

14 октября 1914 г. Радзивиллов

Вот уже шестой час стоим мы у австрийской границы и не можем переправиться ввиду заваленности дороги военным грузом.

Следы войны здесь, как открытые раны. Сожженные постройки, опаленные кусты, разбитые бронзовые пушки австрийцев, поезда с ранеными, пленными, и на каждой станции страшные рассказы санитаров и врачей. Все эти впечатления я уже не воспринимаю, а умело топлю в своей душе, привязывая каждому к шее тяжелый груз моего упорного нежелания знать.

Человек — существо удивительное; еще так недавно, когда мы подъезжали к Лукову, ожидая с минуты на минуту, что вот нас остановят, высадят и двинут в бой, — ночами, когда эшелон подолгу простаивал в темном поле или против безнадежно-унылого фонаря какой-то неведомой, пустынной, проклятой платформы, — да и в Лукове, мне было, говоря откровенно, совсем не по себе. Особенно скверна была первая ночь, о которой тебе, вероятно, уже много рассказала вернувшаяся Наташа.

Мы расположились биваком между лазаретом для тяжело раненных, кладбищем, все время принимавшим в недра свои наскоро сколоченные гробы, и платформою, у которой беспрестанно выгружались санитарные поезда, прибывавшие из-под Ивангорода. Бедная Божья земля. Всю ночь она содрогалась от гула орудий. Всю ночь над ней стоял стон выгружаемых раненых. Всю ночь она смотрела в глаза мерцающим звездам темными впадинами впрок заготовленных могил.

Паршивый городишко кипел кипучею жизнью. Когда темною ночью я спешил с бивака в гостиницу к Наташе, то я ежеминутно наталкивался на белые с красными крестами повязки, всюду снующих верхами врачей, на ряды носилок с ранеными по правой стороне улицы, на возвращающиеся пустые носилки по левой ее стороне. Господи, как тогда было жутко. А теперь — мне могут сказать, что мы завтра двинемся в бой, и эта мысль уже не произведет на меня почти никакого впечатления. Я чувствую, как со дня на день все больше и больше свыкаюсь с нею, как она все явственнее и безусловнее определяется новою основою моего духовного существа. Я знаю, пройдет еще немного времени, и еще столь недавно непереносимая мысль о бое окончательно срастется со всем составом моих основных чувств и дум. Как прирученный зверь, она и теперь уже постоянно увивается у моих ног, я прикармливаю ее с рук, а она облизывает мои пальцы...

Кроме своего трагического облика война явила мне здесь и свой отвратительный лик. Угнетающая забитость серых солдатских масс, что уныло поют в скотских вагонах. Бесконечное хамство некоторых «благородий», блистательная глупость блестящих генералов, врачи стратеги и сестры кокотессы...

Впрочем, все это исключения, общий дух безусловно чист, хорош и бодр. Пока кончаю, кажется, скоро тронемся.

К жене.

28 октября 1914. Ольшаницы (Галиция)

Все время делал все, что мог, чтобы дать о себе знать тебе и маме. Одну телеграмму тебе должен был послать из Львова или из-под Львова Андрей Викторович, который прикомандирован к штабу корпуса и расстался с нами. Вторую телеграмму ты должна была получить снова из Львова, куда нашей батареей был командирован поручик Н. Он уже привез мне квитанцию.

Пользуюсь тем, что это письмо не пойдет по почте, и пишу нечто вроде дневника.

Простившись с тобою в Лукове, я быстро проскакал на бивак и передал о твоём отъезде; всем стало грустно, привыкли за дорогу. А мне было так тяжело, что и сказать нельзя: сразу стало ясно, что война и позиция и все — все это пустяки, а важно только одно — то, что тебя здесь сейчас нет. В Лукове после тебя мы пробыли дня четыре.

Паршивый в первую минуту, Луков полюбился, все стало знакомым, уютным. Вдруг приказ: через полтора часа выступление. Собрались — и обратно на станцию; начали грузиться с вечера и прогрузились целую ночь. Устали страшно. Вагончик дали дрянной, маленький-маленький, с короткими лавочками, но милый, такой, какой ходил из Боржома в Бакурьяны, останавливаясь в бесконечно милом моему сердцу «Цеми», где на низком балконе, между двумя окнами, занавешенными зелеными шторками, уже с поезда виднелась ты, то белым, то желтым, то красным пятном.

Из Лукова, чрез Радзивиллов, поехали на Львов. В Галицию мы с Романом Георгиевичем въезжали победителями, стоя на передней площадке паровоза. Край совершенно русский, правильнее, польско-русский. Население встречало с искренним расположением и явным любопытством. Белые мазанки, пирамидальные тополя, соломенные крыши, православные церкви — одним словом типичная Малороссия, по всему своему облику и существу глубоко чуждая Германии и германскому духу Австрии. Все это, бесспорно, должно принадлежать России, не по праву войны, а по естеству и облику всего края.

Приехали во Львов. Прекрасный город. От многих слышал, что он напоминает Киев. Из того, что я видел, он роднее всего Варшаве. Пробыли мы в нем только одну ночь. Расположен он на больших холмах; улицы кривые и путаные. Много роскошных зданий, есть и старина. Во Львове мы впервые вошли в общение с холерой, с которой теперь уже ни на час не расстаемся, но к которой окончательно привыкли. Черные бараки, известковые крапления, надписи «Epidemiespital», «Eintritt verboten»⁶, и кресты над дверьми домов, где австрийцы по-

мещали своих холерных больных, нас уже совершенно не смущают. Вместе с солдатами мы твердо верим, что холера ушла с австрийцами и нас не возьмет. Очевидно, вера помогает. За все время умер лишь один солдат, несмотря на то, что мы каждую ночь проводим в холерных местечках. Я тебе уже писал, что во Львове мы в последний раз провели культурный вечер.

Ночевали в прекрасной гостинице, спали на мягких постелях, принимали теплые ванны, ели майонез из пулярды⁷, грязными, походными сапогами попирали голубые ковры нарядного ресторана, где рядом с нами, ведя полусшепотом оживленный разговор, небрежно и роскошно ужинала небольшая компания прекрасно одетых мужчин. Вспомнился Фрейбург, вспомнился «Romischer Kaiser», где мы ужинали с четою Кленау. Вспомнились наши с ними разговоры о мистике, Достоевском, о четырех стадиях эротически музыкального у Киркегорда⁸, и совсем непонятными становились наши дни. Один из ужинавших был случайно похож на меня, т. е. на мою фотографию. Та же длинноволосость, та же расплывчатость характерных черт большого и дряблого лица, та же пронизательность и ироничность в маленьких глазах и около большого рта. Вынимая изо рта прекрасную сигару, он изредка взглядывал на нас, и на его лице определенно сказывалось чувство безусловного превосходства над нами. Я посмотрел на себя в зеркало и почувствовал, что он прав: на меня смотрел краснорожий микроцефал⁹ с определенным выражением большой физической усталости в глазах — и больше ничего. Конечно, война громадная вещь, громадная проблема, громадное переживание — но эта проблема до поры до времени мною куда-то складывается. Я же сейчас туп, глух, глуп и замкнут. Душа лежит в груди свернувшимся ежом: извне неуязвимая, изнутри снулая...

Из Львова мы пошли походом на Гродек, Садову-Вышню и Мостиску. Шли три дня и пришли под Перемышль. Тут мы узнали, что наше назначение блокировать Перемышль. На переходе Садова-Вышня, Гродек — мы впервые увидели следы войны: окопы, поломанные леса, дохлые лошади, ломаные винтовки и кое-где на кустарниках патронташи, фуражки и окровавленное белье.

В Мостисках мы были верстах в 14 от наших осадных орудий. Громыхали они денно и ночью, но громыхание это не производило никакого впечатления. Оно было уже вполне привычным с Лукова. Привычна была уже и мысль о позиции, привычна настолько, что отчетливо хотелось съездить на нее, на эту привычную таинственную незнакомку, именуемую позицией. Как-то после обеда я поехал кататься верхом, поехал по направлению выстрелов. Страшно хотелось доехать до наших батарей. Удержала лишь мысль о Москве и мое принципиальное решение не подвергать себя самовольно и ради одного любопытства излишней опасности.

Из Мостиски нас двинули дня через четыре на Чишки и дальше к Сану. Первый переход Мостиска–Родохонцы, длившийся двенадцать часов, был крайне затруднителен. Шли ночью, шли по ужасной дороге и, конечно, сразу же сбились с пути. Вначале мы двигались по направлению к Перемышлю. Перемышль, очевидно, горел. Над ним пылало зловещее зарево. Пушки грохотали совершенно близко. Мы подходили все ближе и ближе. Стал уже совершенно ясно слышен не только пушечный, но и пулеметный и ружейный огонь. Спустя несколько минут мы уже шли между нашими и неприятельскими артиллерийскими позициями. Если бы в это время с этих позиций был открыт огонь, то снаряды пролетали бы над нашей головой как в одном, так и в другом направлении.

Вдоль той дороги, по которой мы двигались, были расположены небольшие пехотные окопы, оказалось, что это прикрытие нашей артиллерии. Что-то нас задержало, и мы остановились; я долго беседовал с солдатами. Каждый из них живет в небольшой яме. Яма сверху наполовину прикрыта досками, внутри каждой ямы сложена из трех-четырех кирпичей печь. Была ночь; в каждой яме, в каждой печи горел огонь, и странно — мною этот огонь определенно ощущался, как огонь родного очага, и эта яма, как дом и твердыня, как кров и уют. Мне, никогда еще не выдавшему позиции, стали впервые понятны рассказы участников японской кампании о том, как солдаты и офицеры привыкают к своим устланным соломой ямам, как любят они их, спасающих от раны и смерти.

Из Родохонец мы пошли дальше, пошли по неокончательно убраным полям сражения. Я знал уже накануне, что мы пойдем по ним, ждал страшного впечатления, боялся его и заранее подготовлялся ко всему предстоящему.

И вот странно, вот чего я до сих пор не пойму: впечатление было, конечно, большое, но все же совершенно не столь большое, как я того ожидал. А картины были крайне тяжелые. Трупы лежали и слева и справа, лежали и наши и вражьи, лежали свежие и многодневные, цельные и изуродованные. Особенно тяжело было смотреть на волосы, проборы, ногти, руки... Кое-где из земли торчали недостаточно глубоко зарытые ноги. Тяжелые колеса моего орудия прошли как раз по таким торчащим из земли ногам. Один австриец был очевидно похоронен заживо, но похоронен не глубоко. Придя в сознание, он стал отрывать себя, успел высвободить голову и руки и так и умер с торчащими из травы руками и головой. Кое-кого наши батареи хоронили, добрали также четырех брошенных на поле сражения раненых. Ну скажи же мне, ради Бога, разве это можно видеть и не сойти с ума? Оказывается, что можно, и можно не только не сойти с ума, можно гораздо больше, можно в тот же день есть, пить, спать и даже ничего не видеть во сне.

Чем дальше мы шли, тем тяжелее становились условия похода. Австриец отступал так быстро, что нам приходилось осиливать громадные переходы и двигаться без куска хлеба. Мы часто выезжали в восемь утра, а ели и пили впервые лишь часов в десять вечера. Все это, оказывается, переносимо, и переносимо очень легко, без головной боли, без всякой усталости, даже просто без всякого труда, без затруднения.

Сегодня второй день, как мы стоим на месте. Что будет дальше — неизвестно. Мы причислены к 8-й армии Брусилова¹⁰ и участвовали, как оказалось, в обходе Перемышля и части разбитой под Самбуром австро-венгерской армии. С другой стороны Перемышль обходила 3-я армия Радко-Дмитриева¹¹; между авангардами обеих армий осталось всего только двадцать верст.

Прости за эту сухую хронику, но если бы ты знала, в каких я пишу ужасных условиях. За тем же столом, где я пишу, рассчитывается с фейерверкерами¹² и артельщиками Иван Дмитриевич. Павел Алексеевич тут же пишет денежный журнал. Кроме того, в комнате кто-то громко читает привезенную из Львова газету. Роман Георгиевич упрашивает кого-то играть в винт. Наш капитан желает добиться от какого-то зашедшего офицера уверения в том, что предстоит внеочередное производство. Он всегда только и мечтает о крестах и чинах. Кроме всего этого, в комнате бесцельно толпятся все наши вестовые. Меня ежеминутно отрывают от письма, совершенно не дают сосредоточиться, разбивают всякое настроение. Да и устал я, уже двенадцать часов ночи.

На прощанье вот что: если долго не будешь получать от меня писем, то не отчаивайся. При том быстром движении вперед, которое мы сейчас совершаем, отсылать письма нет никакой возможности. Все штабы и полевые конторы не успевают расположиться, как им уже приходится сниматься с якоря и уходить вслед за нашими наступающими армиями...

Р. С. Где ты была? Видала ли нашу литературную и философскую Москву? Что говорят о войне, что пишут?

О, Господи, как легко писать о войне, не проведя колеса своего орудия по торчащим из земли ногам. Тут и смысл, и история, и свобода, и новая культура...

К матери.

3 ноября 1914. Лиски (Галиция)

Живу все по-старому: уже третья неделя поход, стоянка, снова поход. Иной раз стоянка прекрасная — в санатории, в здании вокзала, иной раз, как сейчас, — паршивая и грязная. Нас пятеро в душной комнате курной избы, кишущей совершенно невероятным количеством клопов, блох и даже вшей. И все-таки хорошо. Хорошо тем, что есть

стены и стол, печь и деревянный пол. После обеда, усталый и озябший за утро, я лежал на своей постели, полуспал и полугрезил. За окном тихо кружил мокрый снег. Темнело. Иван Дмитриевич Чаляпин, офицер, заведующий хозяйством, считал деньги, щелкал счетами, скрипел пером. От его свечи розовел потолок. На стене двигалась тень его склоненной головы. Тебе это покажется странным, но верь, что здесь сейчас свеча, тень, чернила, перо, стол воспринимаются так же, как в мирной обстановке цветы, стихи и музыка, как вестники нездешнего мира. Каждая вещь в моем теперешнем сознании как бы превышает себя самое; каждая вещь есть здесь прежде всего обратная дорога души в душу покинутый мир. Ныне мне коричневые ворота твоей московской квартиры гораздо дороже триумфальной арки Константина¹³: независимая в своем бытии от моего желанья, арка сейчас, конечно, так же существует, как существовала и пять лет тому назад, когда я ее видел, а в ворота твоего дома я *вот сию минуту* так страстно хочу войти, что уже начинаю верить, их не только нет, но и никогда не было.

Говорят, что война родит героев, жаждущих славы ратного подвига, смерти врага и смертной опасности. Вероятно, это так, хотя определенно сказать не могу: на войне я еще не был и пока видел только георгиевских кавалеров, а не героев. Но кого война родит в бесконечном количестве, что мне уже и сейчас видно, это призванных и не призванных поэтов обыденщины, певцов серо-мещанской, буржуазной жизни.

В этой скверной сентиментальности есть своя глубина. Дело в том, что в мирной обстановке каждая вещь есть в известном смысле вещь мертвая, могила тем потребностям, которые ее породили, тем духовным напряжениям, которые ее создали. Видя лампу, мы не чувствуем мрака, лучины и чада, которые ею отменены; и стоя у камина, мы не вспоминаем, не переживаем того холода, ветра и осенней ночи, которые в нем преодолены. В мирное время мы ощущаем вещи с пошлостью аналитических суждений, лампа есть лампа, камин есть камин. А тут на войне лампа есть лампа, а кроме того, она есть и мрак, и лучина, и чад. Война прекрасная школа для практического изучения диалектики Гегеля.

Я уверен, что, когда я вернусь, я буду часами благодарно смотреть на чайный сервиз, на дрова в камине, на мягкое кресло, на полку с книгами. И все это будет вовсе не комфортом, а знаком и образом какой-то новой душевности.

Мне трудно все это рассказать тебе в письме. Расскажу при свидании. А знаешь ты, какое счастье разговаривать, так просто сидеть за чаем и разговаривать с близкими, хорошими и понимающими тебя людьми. Буду ли я еще сидеть за твоим круглым столом, буду ли разговаривать? Если и буду, то когда? Пока нет на это никакой надежды, пока кругом совсем иная жизнь.

Вчера, например, я ездил искать овса и сена. Проехал в сторону неприятеля верст тридцать семь — сорок. Переваливал, ведя лошадь в поводу, через большую вершину. Слышал налево и направо выстрелы все еще длящегося боя, видел брошенные австрийские позиции, груды жестянок из-под консервов, цельные ящики снарядов, бесконечные лошадиные трупы. Местами в лощинах пахло трупами, а я все ехал со своими солдатами от усадьбы к усадьбе, забирая у населения нужное им сено и платя им за это по *справедливой* цене совершенно ненужными им деньгами.

Возвращался я поздно ночью. На полдороге от нашей стоянки нас нагнал батарейный кучер Адрианов, который возил на фронт случайно забредшего к нам офицера соседней дивизии. Усталая тройка плелась шагом. Изредка позвякивали бубенцы. Распустив вожжи, сибиряк Адрианов несмолкаемо пел свои таежные песни. И было так странно видеть привычную русскую тройку среди романтического ландшафта Галиции, живо напоминавшего мне гейдельбергские горы и тихую долину Неккара.

Я ехал и думал, думал и вспоминал о моих студенческих годах: философия, с ее новыми для меня откровениями, прекрасное лето, с теплыми, удушливо ароматными вечерами, одиночество с его духовною сосредоточенностью, острая тоска по России и по родному дому, восторг предстоящей мне дали жизни, знания и творчества, бесконечное звездное небо в единственном окне моей маленькой комнаты, — все это вдруг нахлынуло на меня и завладело мною... Передо мной, как живой, встал милый и заботливый Георг, который, бывало, каждый вечер стучался в мою дверь и входил ко мне в комнату в своем вечном драповом пальто с неизменною сигарою в руке.

А теперь этот Георг, вероятно, стоит где-нибудь на взводе или лежит в пехотной цепи и хочет сделать так, чтобы были убиты те, которые именуются русскими. А ведь Россия спасла его, Достоевский спас его от самоубийства.

Неужели и он теперь враг нам? Неужели и он переживает войну не как насилие над собою, но активно участвует в ней, душою и мыслью разделяя все безумные заблуждения и темные настроения современной Германии?..

Как мне было грустно и страшно! А Адрианов все тянул да тянул свои унылые песни...

К жене.

8 ноября 1914. Карликово (Галиция)

...Пишу тебе из горной деревушки... Когда мы тронулись из Лисок, там было сравнительно еще тепло. Мы собирали рыжики и жарили их в сметане от собственной коровы, которая следует за нами постоянно.

Но постепенно поднимаясь, мы быстро попали в настоящие снега. Ночь с пятого на шестое была в физическом, а отчасти даже и в нравственном отношении совершенно «кошмарная» ночь, как ее озаглавил в своем дневнике наш изнеженный Вячеслав Чеславович.

Выступили мы рано утром, в шесть часов, и шли ровно двадцать четыре часа. Шли, не съев куска хлеба, не выпив кружки чая. Шли, не поив лошадей и раздав им только по охапке сена. Уже к вечеру пятого числа люди и лошади окончательно выбились из сил и решительно отказывались идти.

К ночи поднялся страшный ветер. Пошел снег. В глаза попадали острые мерзлые иглы. Дорога поднималась все круче и круче. Снег наваливался все глубже и глубже. Каждую запряжку приходилось втаскивать вверх на десяти лошадях, сгоняя измученных людей к колесам. При всем этом — всюду громадное движение, страшное скопление маневрирующих частей, обозов, автомобилей. Непроходимое упрямство начальников каждой части и упорное желание каждого, во что бы то ни стало, вне очереди, как можно скорее двигаться вперед, — в результате чего шум, гам, брань, беспорядок и длительное стояние каждой запряжки на месте.

К нашему общему горю эта мучительная ночь закончилась отвратительным ночлегом. Расположились мы в избе (слава Богу, одной из двух недурных на всей деревне). Одно окно, лавки по стенам, громадная печь, непонятная роскошь: часы с башенным боем, и всюду не иконы, а довольно безвкусные религиозные картины. В этой небольшой комнате нас четверо офицеров, две молодые женщины (муж одной на войне, другой в Америке), старый-престарый, одеревенелый от старости «дид», шесть шелудивых ребят и три кошки. Время от времени для питания заходят куры, оставляя свои ароматические следы. Ночью устанавливается такая вонь, что решительно нечем дышать. А с печи «дида» доносятся какие-то совершенно не анализируемые звуки...

Сегодня я встал рано, в шесть часов, я уже умылся и сел писать, пользуясь тем, что все спят и стол свободен. Щелеобразное окно занавешено шинелью. Пишу при маленькой лампочке. В ноги дует отчаянно, а в спину так и пышет только что затопленная печь. Дети проснулись веселые. На босу ногу, в одних рубашонках сбегали на мороз и теперь сели на подплаток у самого огня, греются и гулюкают. Старый дид стоит, как оперный тенор, на одном колене (если встанет на оба — ему больше не подняться), молится громким шепотом и скребет себя отчаянно. Физически он вообще уже больше не человек, а предмет уничтожения для насекомых и грязи. Он мало что понимает, почти ничего не слышит и не видит, мало говорит, мало ест и почти не спит. При этом он очень красив, или, правильнее, живописен: совершенно желтое лицо, высокий, открытый лоб, длинные черные волосы, очень злые брови и острые, колкие глаза. Одет снизу в суровое полотно,

опоясан очень широким кожаным поясом. Сверху короткий овчинный тулуп и шапка северного морского типа...

Когда уйдем отсюда — не знаю. Хотелось бы поскорее в несколько более чистую обстановку. Боюсь, что не скоро-то ее увидишь...

К жене.

20 ноября 1914. Мезо Лабордж (Галиция)

...О себе сейчас ничего не напишешь. Все по-старому. Горы, снега, тяжелые переходы. Раз были двадцать шесть часов в седле, без куска хлеба, без кружки чая. Но все это совершенно легко переносится. Вообще во мне легкость необычайная. Спать могу сутки и могу совершенно не спать. Есть почти перестал, ибо едят все время бифштексы, а есть мясо больше не могу. Стал вегетарианцем. Почему — сказать трудно. Но, вероятно, оттого, что все время мы сами режем коров и всюду валяются кишки, желудки и глаза. Всюду на снегу лужи крови, и часто бедные скотины валяются с перерезанным горлом на земле и дрыгают задними ногами.

Недавно мы вошли в город, только что покинутый отброшенными неприятельскими войсками. Ужасное впечатление. Весь город буквально перевернут вверх дном. Улицы и вокзал завалены, загромождены всяким домашним скарбом. Очевидно, жители пытались кое-что вывезти и не успели. На привокзальных путях стояло пять поездов. Внутри вагонов и на путях: кровати, диваны, матрацы, альбомы, портреты, женские платья, муфты, шляпы, книги, все больше еврейские, еврейские налобники для молитв, кофе, подсвечники, детские качки, чепчики, котлетные машинки, письма и много, много, неисчислимо много других вещей. Все перерыто, перевернуто, разгромлено, разбито. Всюду, как шакалы над трупами, бродят оставшиеся нищие жители, солдаты, казаки и мы.

Живем мы великолепно вот уже целых два дня. Сидим на мягких диванах. Пьем красное вино из граненых графинов. Служим обедни под фисгармонию¹⁴. Поем цыганские романсы под фортепиано. Лежа на мягких постелях, звоним вестовым в электрические звонки. Топчем болотными сапогами дорогие ковры и смотрим свои «анфасы» и «профиля» в тройное зеркало хорошего дамского туалета.

А напротив стоит, распахнув свои двери, католическая церковь. Вся она также перевернута. На полу валяется латинская библия. Шелковые облачения и кружевные оборочки ксендзов разбросаны тут и там. У входа в церковь лежат два мертвых австрийских солдата. Лежат лицами к небу. Один молодой, красивый, с открытыми замерзшими глазами. Другой сравнительно старый, очень уродливый, с выбитыми глазами и пальцами, глубоко врытыми в землю. Карманы, как у всех покойников, конечно, вывернуты: все жаждут золота... Около мертвецов и вдоль церковной стены виднеются отвратительные следы человеческого пребывания...

Над всем городом стоит вой оставшихся жителей. Происходит необходимая реквизиция керосина, сена, овса, скота. У уличного фонаря дерутся из-за керосина две руссинских женщины¹⁵. Их, восстанавливая порядок, разгоняют казаки. У каждого под седлом бархатная скатерть или вместо седла шитая шелками диванная подушка. У многих в поводу по второй, по третьей лошади. Лихая публика. Какие они вояки, щадят или не щадят они себя в бою, об этом мнения расходятся, я своего мнения пока еще не имею, но о том, что они профессиональные мародеры и никого и ни за что не пощадят, — об этом двух мнений быть не может. Впрочем, разница между казаками и солдатами заключается в этом отношении лишь в том, что казаки с чистою совестью тащат все: нужное и ненужное; а солдаты, испытывая все же некоторые угрызения совести, берут лишь нужные им вещи. Очень строго к этому я совершенно не могу относиться. Человек, который отдает свою жизнь, не может щадить благополучия галичанина и жизни его телки и курицы. Человек, испытывающий над собою величайшее насилие, не может не стать насильником. Кутузов это понимал, и когда к нему приходили с жалобами на мародерство, он, бывало, говаривал «лес рубят, щепки летят». Но эта тема большая, о ней совсем в ином размере при свидании.

Сейчас пришел приказ выступать, мы идем на место второй батареи, а она втягивается в город. Говорят, что она уже была в деле...

К жене.

7 декабря 1914 г. Луча, Галиция

Две недели тому назад я отправил тебе последнюю телеграмму. Надеюсь, что ты ее получила. С тех пор наступили и беспросветно продолжались крайне тяжелые дни, и мне совершенно не представлялось никакой возможности послать в Москву какую-либо весть о себе.

Совершенно случайно вчера ночью завернул в нашу деревню на огонек нашей свечки прапорщик второй батареи, парижско-московский художник М. Ты его должна знать по выставкам и «Свободной эстетике»¹⁶. Он едет во Львов, оттуда, вероятно, в Москву. Счастливый. Быть может, и я мог бы «словчиться», как говорят у нас, но, во-первых, я, к сожалению, совершенно не чувствую себя усталым, а во-вторых, для меня почти непереносима мысль о новой разлуке, а потому и не светла мечта свидания на время.

Пользуясь тем, что письмо это будет передано тебе в руки, я постараюсь, насколько смогу, написать тебе все перипетии нашей жизни.

С Ольшаниц началось наше не столько наступление, сколько движение вслед за уходящим врагом. Свершалось это преследование в настроении крайне бодром и уверенном. Мыкаясь на переходах, мы все же знали, что в назначенное время нас встретят квартирьеры и нам будет уготован ночлег. Так мы прошли Лиски, Тарнову, Горную,

Кулашное, Карликово, и наконец, через Бескидский перевал вошли в Венгрию.

Венгрию было приказано не занимать, а потому, простояв в Мезо-Лабордже, откуда я писал тебе мое последнее письмо, два дня, мы двинулись обратно в Волю Михову. Много войска тронулось на Краков, нам же выпала задача охранять проходы в Венгрию. Расположенный в Воле Миховой, наш дивизион мог быть двинут с одинаковой легкостью как на Ростокский, так и на Бескидский перевал.

Все это я пишу тебе не в целях выяснения хода войны, но как выяснение моего положения в пространстве. Итак, мы стояли в Воле Миховой, откуда и начались наши мытарства. Нас подняли в два часа ночи (а легли мы в двенадцать, ибо были в гостях у шестой батареи, которая праздновала свой батарейный праздник и угощала нас на славу) и приказали немедленно двигаться на Ростки-Горные (маленькая деревушка на хребте Ростокского перевала).

Мы вышли темною ночью, в четыре часа, и двинулись в горы. Кругом лежали снега, шел снег, и решительно ничего не было видно.

Наш капитан, несмотря на все доводы и уговоры Чаляпина и меня, повел батарею не по шоссе, а, перемудрив, избрал какие-то непроходимые для артиллерии тропы, продвижение по которым очевидно увлекало его каким-то сходством с Суворовскими переходами.

Не могу описать тебе всех трудностей пути. Скажу только, что шли мы беспрестанно с четырех ночи до одиннадцати вечера, проходя временами не более версты в три, четыре часа; шли, запрягая местами в орудие 10–12 лошадей, шли, таща орудия на лямках, строя мосты, прорывая глубокие колеи-рельсы для колес, дабы они, раскатываясь, не увлекали орудия в глубокие обрывы, которые открывались слева и справа.

Наш капитан, поправляя сделанную ошибку, все время впереди: занят разведкою дороги; Чаляпин, как старший офицер, ведет голову батареи, я, как младший, еду в хвосте и провожу все запасные ящики, запряженные всяким сбродом обозы, кухни, живых быков, которыми мы питаемся, словом, всю не идущую рухлядь. Задача самая неблагоприятная.

Дошли и получили приказание сменить в Ростках третью батарею, которая, порядком уже растрепанная, должна была отправиться чиниться.

Двадцать шестого в ночь мы сменялись. Третья батарея стояла не вся вместе: четыре орудия были расположены на закрытой позиции, а два, т. е. взвод, всего только в пятидесяти шагах от наших пехотных окопов, на позиции, абсолютно пристреленной австрийцем и открытой для всех его наблюдений. Стоял он только на случай ночной атаки; его назначение заключалось в стрельбе на картечь.

Мне было приказано поставить на его место мой второй взвод. Днем сменяться было невозможно; «они» могли бы перестрелять нас, как

куропатов, и мы сменялись ночью. Это была первая ночь большого настроения.

В восемь вечера к избушке, где мы квартировали, подошел взвод, и взводный Черненко, веселый, молодцеватый парень, доложил, что взвод готов.

Я вышел в совершенно темную ночь, негромко поздоровался с солдатами, подождал подхода сменявшегося взвода третьей батареи и, осторожно разъехавшись с ним на узкой дороге, повел свой взвод на позицию, на первую позицию, которую пришлось занимать нашей батарее.

Я ехал впереди; люди шли и ехали в полном, почти торжественном молчании. Дорога еле освещалась моим электрическим фонарем. Я ехал и чувствовал всем своим существом, как между мною и моими солдатами зарождается какая-то новая связь. «А если случится трудное и тяжелое, — ты не выдашь, не сдашь?» — казалось, спрашивали они меня. И я отвечал им: «Не выдам». И отвечая, я в темноте и спиной видел, и в абсолютном молчании слышал, как строго они воспринимают мой долг перед ними и повторяют: «Смотри же, — с тобою мы все, а без тебя — ничего». А о себе я знал такое же, знал, что с ними я все, а без них — ничего.

Пройдя с версту, подошли к отвесной горе, где надо было оставить передки, зарядные ящики и лошадей, — так как за ней внизу в долине ночевал уже «он», австриец. Ко мне подошел фейерверкер третьей батареи, который должен был показать места установки орудий, и, погасив мой электрический фонарь, мы вышли с ним на позицию.

Передо мной по откосу горы, обращенному к неприятелю, тянулась, извиваясь, как случайно брошенная веревка, линия наших окопов. Внутри окопов светились, видные мне сверху, печные огоньки. На трубах лежали мешки, чтобы неприятелю не было видно дыма. Над огнями и прибываемым этими мешками к земле дымом лежала заметная, глубокая, явно присутствующая тишина. А внизу темнела деревня, в которой живет, сейчас спит, как и мы, а завтра будет стрелять по нас, как и мы по нем, «он» — неприятель.

Выбрав наиболее удобное место подъема и привязав к орудиям канаты, я стал втягивать их на гору. Втянулись. Замаскировались, и всемером: я, два фейерверкера, два наводчика и еще два номера — вошли спать в окоп.

Окоп маленький, тесный, еле можно сидеть. Кое-как продремав до рассвета, я вышел на воздух.

Красота раскрылась необычайная. Передо мной остроконечные горы, кое-где в складках ущелий и на вершинах покрытые снегом. Горы эти сгорают в спектральном пламенении. Особенно ярко желтые, зеленые и красные тона. Ниже — долина, деревня, неприятельские окопы — все еще в тумане.

Позднее, когда туман поднялся, и стало совсем светло, я уселся на лафет моего орудия, опер бинокль о щит и стал рассматривать до сих пор еще ни разу не виданного мною противника. Он жил полною хозяйственною жизнью: устраивался на зиму, и устраивался по мере сил уютно и с комфортом. Я отчетливо видел в бинокль, как серо-голубые австрийцы бродили по окопам и ходам сообщения, как они углубляли свои земляные коридоры, как золотились на утреннем солнце смолистые доски и лесины, которыми они выстилали и накрывали свои землянки. Предполагая, согласно ходившим в дивизии слухам, что нам придется стоять в Ростоках очень долго, а быть может, даже и зимовать, мы решили заняться тем же. Вместе с Черненко и еще несколькими расторопными ребятами мы облюбовали место для постройки трех землянок, одной для меня и — двух для солдат. Протелефонили в резерв фельдфебелю, он прислал досок, окно, железную печь, и в тылу позиции, внизу под откосом закипела работа...

Вдруг в одиннадцать утра сзади меня гулко разнеслись четыре мерных артиллерийских выстрела: одновременно с ними над австрийской деревней у моих ног показались четыре шрапнельных дымка и раздались четыре заглушенных звука разрывов.

Стреляли четыре орудия нашей главной позиции. Австрийцы сейчас же открыли ответный огонь, но так как они никак не могли знать расположения нашей батареи, то отвечали наобум, раскидывая свои красные дымки по самим Ростокам и вокруг них, по дороге между моим взводом и главной позицией и по одному, почему-то не понравившемся им, лесному холму.

При первых же выстрелах наших орудий мне и всем моим солдатам стало определенно весело; я помню, что я сознал эту свою веселость и удивился ей.

Бой разгорался; командир выпускал пятую сотню снарядов. Я мог бы тихонько сидеть у себя на взводе, по которому австрийцы не стреляли. Больше, я, в сущности, был обязан сидеть у себя на взводе, но я не выдержал, сбегал вниз и, схватив у передков свою лошадь, понесся по обстреливаемой дороге на нашу позицию, над которой только что разорвалось шестнадцать неприятельских шрапнелей.

И знаешь, как странно. Эта минута, когда я несся галопом к позиции и видел, как вправо и влево от меня вставали розовые дымки рвущихся шрапнелей, была одна из самых звонких и веселых минут моей жизни.

На следующий день был получен совершенно неожиданный для нас приказ отступать, отступать немедленно. Я лично должен был тотчас же снимать свой взвод, снимать днем на глазах у неприятеля. Когда я передал это солдатам, некоторые из них заметно смутились. Мое настроение оставалось прекрасным, я был абсолютно уверен, что все обойдется вполне благополучно. Объявив солдатам, что я рожден

под счастливой звездой и что ни с кем из нас ничего не случится, я приказал немедленно приступить к делу.

Первое орудие мы скатили мигом; со вторым несколько замешкались, и австриец сразу же открыл по нас огонь, причем первая же шрапнель разорвалась как раз над моим окопом.

В момент этого выстрела я находился уже в безопасности у первого спущенного под гору орудия. Как только я увидел, что австриец стреляет, я совершенно рефлекторно выскочил из своего прикрытия и, схватив орудие за колесо, стал тянуть его вниз. Шрапнели все продолжали рваться вокруг нас. Основное настроение и этой минуты — безусловная и явная веселость.

Вот ты и пойми тут что-нибудь. До чего же противоречиво существо человека! Решительно можно сказать, что себя самого человеку никогда не понять. Бой — который я отрицал всем сердцем, всем разумением и всем существом своим, меня радует и веселит, веселит настолько, что, впадая в несколько преувеличенный и ложный тон, я не без основания мог бы воскликнуть, что бой для мужа, все равно что бал для юноши. Хотя, конечно, надо заметить, что наш первый бой был вряд ли одним из тех боев, что составляют и сущность, и ужас войны. Сейчас получено известие, что завтра нас поставят на позицию. Предполагается общее наступление. Я не могу продолжать мое письмо в повествовательном стиле. Доканчиваю потому наскоро.

С двадцать девятого началось дикое, нелепое отступление. Наш отряд (один из полков нашей дивизии и наша пятая батарея) получил, как впоследствии оказалось, приказание отступить с некоторым запозданием; казачья дивизия, к которой мы были прикомандированы, ушла на рысях. Командующий ею генерал, начальник нашего отряда, оставил нас без всякой связи с кем бы то ни было, без карт, распоряжений и заданий. Командир полка и наш капитан повели нас на свой риск и страх. Отступление было крайне тяжелое: сзади австрийцы, спереди австрийцы, сбоку австрийцы. Но кроме австрийцев еще два злейших врага: полная нераспорядительность начальства и обозлившаяся на нас природа. Обледенелые горные тропы, а местами невылазная грязь окончательно вымотали лошадей, которые останавливались и решительно отказывались идти дальше. Во время переправы через Сан внезапно пошел лед: льдины сбили плохонький мост, по которому как раз переходило наше орудие; в одну минуту люди и лошади, орудие и зарядный ящик очутились в воде, и пошла невероятная неразбериха. Сан — река быстрая и глубокая. Спасти все стоило страшных усилий. Провозились долго, кое-как выбрались. Часть батареи пошла одним берегом, часть другим. Пехота также распалась побатальонно. Несколькими верстами ниже нам пришлось вторично переходить Сан по только что наведенному нашими понтонерами мосту. Орудия и несколько ящиков благополучно прошли, но два зарядных ящика,

обоз и кухню пришлось бросить на том берегу... Новый мост внезапно дрогнул, оторвался от берегов и медленно и торжественно двинулся вниз по течению. Неожиданно разлученные, батарейцы и обозники перекликались и прощались друг с другом.

Больше не могу писать, и М-ти торопит и сами мы получили приказание выступить на позицию. Кончаю потому наскоро в двух словах. Наше отступление длилось уже пятый день. Когда мы окончательно выбились из сил, мы внезапно натолкнулись на наши парки. Через несколько часов мы были уже в Луче, в лоне нашей бригады, которая считала нас погибшими в плену.

К жене.

26 декабря 1914 г. Хыров. Галиция

...Уже с двадцатого декабря мы живем совершенно мирною жизнью. Живем в маленькой халупке, на дне глубокого оврага, окруженные горами, занесенные снегами и отрезанные от остальных батарей нашей бригады почти полным галицийским бездорожьем.

На другой день, после отъезда М. в Москву, мы двинулись в горы. Четыре дня длились упорные и ныне уже громкие по своему имени бои под Венглювкой, Змигородом и Кросно.

Десятого декабря в три часа ночи дежурный телефонист разбудил нашего капитана и передал ему приказание командира дивизиона. В приказании сообщалось, что в шесть часов утра начнется наше наступление и что от нашей батареи пойдут один или два взвода, которые займут, вероятно, открытую позицию. Вытягиваться из деревни было велено всей батарее. Как мы вылезли из нашей лощины на горную дорогу, я до сих пор понять не могу. В страшном, злом ветре нельзя было слышать ни одного слова команды, темнота стояла кромешная. Кое-где только ручные фонари и ежеминутно задуваемые факелы вырывали из мрака особенно опасные места дороги, одну, другую лошадиную морду, дуло орудия и солдат, налипших на завязшем по ступицу в грязи колесе. Лошади по пузо утопали в грязи и останавливались, выбиваясь из сил. Скоро выяснилось, что всей батарее по такой дороге все равно не выехать, и было приказано запрячь каждое орудие десятью лошадьми и вывозить лишь один взвод. Чаляпин с двумя взводами пошел обратно, а мой взвод с командиром пошел в горы на позицию. Пройдя версты три, мы втянулись в могучий сосновый лес. Каменистая дорога становилась все мрачнее и зловещее. Впереди слышалась ружейная перестрелка и ужасная дробь пулеметов. По сторонам дороги теснился полковой резерв. На обочине стояли санитарные двуколки с красными крестами. Навстречу гнали оборванных пленных и проносили раненых. Ружейная трескотня все продолжала усиливаться.

Мы подошли к командиру полка. Спокойный, седой, он сидел в канаве у дерева, держал телефонную трубку и отдавал распоряжения:

одну из рот он бросал прямо «в лоб», зная, что люди этой роты почти все умрут и искалечатся через 25–30 минут, а другим ротам он приказывал идти в обход, что для большинства означало, что они, вероятно, умрут не сейчас, но позднее, в других боях.

Переговорив с нашим капитаном, командир полка приказал одному из окружавших его офицеров провести нас на намеченную позицию.

Офицер энергично ответил «слушаю» и уверенно повел нас вперед. Но отойдя шагов двадцать, сразу же заявил командиру батареи, что позиции он в сущности не знает, что о ней говорил только что раненный офицер, который — и сам о ней только слышал от убитого во вчерашней атаке батальонного.

Но, как бы то ни было, мы все-таки двигались куда-то вперед...

С каждым шагом мы приближались к нашим передовым окопам, расположенным на обращенном к австрийцам скате холма. Сначала прикрывающий гребень этого холма превысили наши головы, потом наши груди, — дальше мы шли уже совершенно открыто. Австриец перестал стрелять. Стояла мертвая тишина, слегка шумел только лес. Туман начинал понемногу рассеиваться. Сосны, скалы, ущелья, ручей и небо все ярче и красочнее утверждались в мире, жизни и душе. Когда Божий мир встал перед глазами каждого во всей своей красоте, назначенная в помощь соседнему батальону рота пошла в лобовую атаку на Королевскую сопку. На этой сопке мы через час увидели около пятисот человеческих трупов, которые в самых разнообразных позах лежали и сидели на буро-зеленых склонах холма, ужасающе похожие на восковые куклы паноптикума.

Этим утром бой решился без участия нашего взвода. Прорванные где-то в другом месте фронта, австрийцы побросали свои окопы и стали повсюду отходить. Мой командир, в сопровождении меня и разведчиков, во исполнение полученного им приказа немедленно бросился вперед, чтобы встать на позицию и преследовать отходящих артиллерийским огнем. Проскакав с полверсты, мы круто взобрались на высокий холм. Перед глазами расстилалась как будто где-то уже виданная типично батальная картина в несколько романтическом стиле. Впереди нас, направо, виднелись живописные развалины какого-то старинного замка. Слева серая группа причудливых, мшистых скал. У замка и у подножья скал, прячась и высматривая неприятеля, располагалась и окапывалась наша передовая пехота. Из леса, сзади, вытягивалась артиллерия и нарядно и победоносно выезжало высшее начальство. Между лесом, скалами и замком беспрестанно носились быстрые ординарцы. Внизу в долине по шоссе дорогам расползались серо-лиловые змеи отступающих австрийских колонн. Над ними все время вспыхивали белые дымки наших разрывов. В ответ над покинутыми нами окопами, над лесною опушкой и так кое-где вставали розовые дымки бессильных и беспорядочных австрийских шрапнелей. По не-

бу быстро неслись большие, плотные, кудрявые облака. Пробиваясь сквозь них, низкое солнце бросало на землю длинные косые лучи.

Так прошло утро, его сменил длинный день. Мы встали всюю батареей на позицию и довольно вяло стреляли по окопавшимся австрийским аррьергардам. К вечеру и аррьергарды стали отходить, мы двинулись за ними и, пройдя версты три-четыре, расположились на ночь на лесной поляне в чистеньком, уютном доме, очевидно, только что бежавшего лесничего.

Устроившись в своей постели, я раскрыл вынутый мною из книжного шкапа лесничего галантный роман небезызвестной немецкой писательницы Дункер, в котором повествовалось о странной любви маркизы Помпадур к маркизу N...

На следующий день ранним утром мы пошли дальше.

Особую, стыдную, но непобедимую радость в душе каждого из нас вызывало сознание, что убит за этот тяжелый день не он и не тот, кто был рядом с ним, а целый ряд других, ему совсем или почти незнакомых людей.

Очень долго мы шли спокойно и безмятежно. К вечеру это блаженство было жестоко нарушено.

Уже давно все мы чувствовали, что творится что-то не совсем ладное. Мы идем в походной колонне, как будто где-нибудь в России на маневрах, а слева и справа по полянам, перелескам и пригоркам наступает в боевом порядке, раскинув цепь и выслав дозоры, какая-то другая дивизия. Результат такого ненормального положения вещей не замедлил сказаться. Как только мы стали в узком дефиле спускаться наши орудия под гору, над нами одна за другой стали метко рваться австрийские шрапнели.

Обстрел в пути совсем не то, что обстрел во время боя на позиции. Во время боя боевые действия батареи составляют как бы громоотвод для чувства личной опасности. Когда же обстреливают в пути, и никакие мероприятия по существу дела невозможны, все внимание совершенно невольно сосредоточивается на чувстве личной опасности. А опасность достаточно почувствовать, чтобы сейчас же полезть ей навстречу. В силу этого непреложного закона духа человеческого, и у нас не обошлось без некоторого замешательства.

Когда начался обстрел, наш капитан был где-то впереди, а не при батарее. Заменявший его Чаляпин ссадил ездовых и велел в предупреждение паники, ведя лошадей под уздцы, двигаться шагом. Но в это время подскакал сам капитан и, не скомандовав «садись», пропел внезапно «ры...ысю». Кое-кто из ездовых успел вскочить в седла, кое-кто повис животом на них, а многие просто разбежались и попрятались. Лошади поскакали, понесли, и поднялся страшный беспорядок. Одно орудие завязло в колдобине, другое слетело с мостика в канаву, два зарядных ящика сцепились колесами... Кое-как справившись со всем этим хаосом

сом, мы свернули, наконец, с шоссе и укрылись в глубокой складке местности, где и простояли до двенадцати часов ночи. В двенадцать нас двинули дальше. От четырех до шести утра мы стояли под Змигородом. В памяти нервной системы тяжелый обстрел вчерашнего вечера, в глазах и мускулах страшная усталость от двадцатичасового похода.

К шести утра пехота донесла, что город свободен от засад и можно втягиваться. Весь город пах пивом, ромом и коньяком. Австрийцы, очевидно, собирались весело встретить Рождество, не предвидя нашего вторжения под самый праздник. К семи утра почти вся бригада тесно стала на главной площади. Кое-как разместив людей и лошадей, мы пошли и себе приискать пристанище. Вошли в квартиру ксендза при соборе. В ней царила странная смесь рождественских заготовлений и настроений с пустынностью обстреливаемых комнат, отчаянием и испугом. Ксендз угостил нас сладким и крепким ликером, мы поздравили его с праздником Рождества Христова и легли отдохнуть, кто на кушетке, а кто и просто на полу.

Ровно в девять на площадь прилетела первая шрапнель, затем вторая, третья, началось повторенье вчерашней картины. Нам было приказано немедленно запрягать и выезжать на позицию. Только что мы начали запрягать (что оказалось на этот раз вовсе не так легко исполнить, так как ром и коньяк возымели на наших номеров и ездовых весьма серьезное воздействие), как обстрел заметно усилился. Один снаряд целиком попал в ящик моего взвода. Слава Богу, он не воспламенил снарядов, а лишь разбил колесо, сильно ранил двух лошадей и легко одного солдата.

Мы обратили внимание на колокольню, послали ее обыскать и нашли совсем высоко, под самым куполом, австрийского солдата и старого-престарого еврея, которые сигнализировали австрийцам. Когда мимо меня вели еврея, который определенно знал, что его сейчас повесят, я невольно посмотрел в его старое изнуренное лицо, в его глаза и быстро отвернулся. Такого ужаса и отчаяния я еще никогда не видал в глазах человека.

День, проведенный под Змигородом, был пока что самым тяжелым днем всей нашей жизни. Наша пятая батарея, впрочем, не пострадала, зато «боевая» четвертая поплатилась очень тяжело. На наблюдательном пункте в слуховом окне чердака были одною «братскою» пулею ранены командир Рыбаков и его старший офицер, поручик Вериго. Вериго эвакуирован и, вероятно, оправится. А бедный Рыбаков, раненный в живот, не вынес пути и умер, не доехав до Кросно. Говорят, он ужасно мучился, когда его везли в безрессорной сибирской двуколке по колеям и колдобинам разбитого шоссе. Вся бригада о нем глубоко скорбит. Покойный был совсем особенным человеком. На словах — а говорил Рыбаков подчас очень много — это был несколько старомодный атеист, социалистически ориентированный космополит, скептик,

циник и невероятный сквернослов. По образованию он был математик. На деле же это был капитан с детскими глазами, детской душой и детским смехом, по всей своей крепкой манере жить и чувствовать, яркий представитель простонародной России, и типичный немудрствующий солдат — большой любитель пострелять, до героизма преданный войне и долгу, не злобствующий на врага и не понимающий национальной вражды. С офицерами крайне деликатный и внутренне внимательный, к солдатам бесконечно заботливый, радеющий и любящий, он сразу же снискал себе всеобщую любовь — солдаты в нем души не чаяли.

В третьей батарее ранен штабс-капитан Лопатин. Эвакуировались еще два прапорщика. Один заболел, другой изнервничался. Так редеют ряды наших бригадных товарищей, а воюем мы еще только неделю 6–8...

Уже здесь, в Хырове, служили мы по Рыбакове панихиду, служили сумрачным, слякотным утром. А вчера мы с Г...им проехали верхом к нему на могилу. Похоронен он в двадцати пяти верстах от нашей деревни в городе Красно. Вместе с несколькими парковыми офицерами устали мы его могилу кое-какими цветами, водрузили сосновый крест и постояли минут с десять по колени в жидкой глине у низенького, наскоро и лениво набросанного лазаретными санитарями холмика. Потом скучно, со страшною нудью в душе, пошли темными улицами грязного местечка в госпиталь к Вериге. Шел дождь.

У подъезда и вдоль тротуара стояли целые вереницы фургонов, набитых ранеными. По коридору госпиталя мы шли, с трудом переступая через носилки, на которых стонали и корчились свежепристреленные, мокрые, кровоточащие, зловонные люди.

В офицерской комнате лежало пять знакомых пехотных офицеров, раненных под Змигородом. Все нам страшно обрадовались. Посидев и побеседовав, мы вернулись в наш парк, а оттуда к себе домой, в свою вонючую лачугу.

Среди всех несчастий были мне и две радости. Во-первых, я перевелся вместе с милейшим Иваном Дмитриевичем Чаляпиным в четвертую батарею, которою он временно будет командовать, чем избавился от нашего капитана, а во-вторых, в сочельник, как раз к только что зажженной елке, подоспел с рождественскими подарками и посылками солдатам и нам что-то загостившийся у вас в Москве Павел Алексеевич.

Мы мгновенно взломали ящики, и наш рождественский стол, за полчаса перед тем унылый и пустынный, словно по мановению скатерти-самобранки, превратился в нечто неопишное, в какой-то гастрономический цветник. По сосновым полкам над постелями каждого из нас выросли батареи ароматических бутылок с одеколоном, вежеталем и духами и стопы книг и папиросных коробок. У Вильзара появились белые, обшитые кожей валенки, вроде присланных мне

тобою, что своею исключительно высокой нарядностью решительно потрясли Семёна, а у Ивана Дмитриевича новый бобриковый китель, в который он не замедлил сейчас же обрядиться. Когда все мы, наконец, сели за стол, то настроение оказалось безгранично веселым. Впоследствии оно еще повысилось: разведчики пели хором сибирские песни, а галичане-хыровцы пришли с медведем и козой.

Впрочем, всем было не только весело, у каждого на сердце жил свой минорный подголосок. Каждому вспоминалось многое свое, и каждый по-настоящему не понимал, где он и что с ним происходит...

К жене.

31 декабря 1914 г. Теодорувка. Галиция. 8 ч. вечера

... Мы выбрались на днях из нашего Хыровского оврага и стоим сейчас в большой деревне у шоссе, в трех верстах от городка Дуклы и по соседству с другими батареями бригады.

Изба наша просторная, чистая и нарядная, с огромною, выбеленною печью, с низким, но очень широким — почти во всю стену — щелеобразным окном, расчерченным ярко-синим переплетом рамы на маленькие квадратики. На печи и на полках яркая, пестрая посуда: кувшины, кружки, блюда. На наших хозяйках — мать с дочерью — яркая богатая одежда, а все вместе для твоего московского глаза — характерная декорация Художественного театра.

За окном все время слышен стук топора — это Василий, денщик Чаляпина, краснощекий, черноусый хохол, с глазами точно маслины и с припомаженным ежиком, да старый, бритый дид, в оперном парике, мастерят нам сани для поездки в шестую батарею, которая пригласила бригадного, дивизион, пятую и нас встретить с нею вместе Новый год.

Василий и дид возятся с двумя фонарями как раз у меня под окном, и их фигуры так резко яркие, а немые, раздосадованные, спорящие жесты (дид не хочет переделывать для нас своих саней) так марионеточно забавны в мерцающем обрамлении темной ночи.

Сейчас выбегал к ним на двор, увещевал дида и укрощал Василия. Погода самая новогодняя: легкий мороз, небольшой ветер и крупный, задумчивый снег. Во всех халупах огни; где-то слышна солдатская гармоника.

В комнате у нас суматоха: Чаляпин и Вильзар (из ученого физика и ассистента Йенского университета превратившийся здесь в подающего большие надежды заведующего хозяйством) спешно заканчивают месяц. На столе стоит денежный ящик; под пальцами Чаляпина, как угорелые, мечутся слева направо и справа налево желтые и черные круглячки походных счетов. Всюду разбросаны бумажные пачки и круглые стопки меди и серебра, тетради и книги, по которым, сняв пенсне с носа и воздев его на большой палец левой руки, шныряет

носом милый, близорукий Вильзар. Но, несмотря на всю резвость чаляпинских рук и всю внимательность вильзаровых глаз, какая-то одна шалая копейка все еще продолжает упорствовать в своем обнаружении. Я сделал несколько попыток отвлечь их от их занятия, посоветовал было предать души свои более праздничному настроению и более новогодней тревоге, но тщетно: единоборство с затаившейся копейкой вошло у обоих в азарт, и они глухи, как токующие тетерева...

Ты знаешь, я люблю Новый год, но люблю этот праздник чем-то совсем другим в себе и совершенно иначе, чем праздники Рождества, Святой или Троицы. Елка — крестный ход вокруг кондровской церкви, а на следующий день в большом белом зале торжественный пасхальный стол, Христос Воскресе, батюшка, певчие и всеобщее христосование, — кудрявые в пестрых лентах березы, и звонкий девичий хор у балкона — все это помнится с самого раннего детства, все это вспомнится и по-новому озарится перед смертью.

Совсем в стороне от всего этого живет чувство Нового года. Я не помню, когда полюбил эту ночь: музыку, вино, мечту и маску, но я знаю, что с чувством Нового года в душе нельзя стареть и невозможно умирать. Им опозорится старость и обесмыслится смерть. Сейчас здесь я понимаю это гораздо глубже и отчетливее, чем понимал раньше. И это постижение полно для меня глубокой скорби и резиныции¹⁷. Новый год единственный совсем не религиозный, а если хочешь, чисто философский праздник. В нем нет прославления какого-либо метафизического события. Новый год трансцендентален¹⁸: в нем утверждается всего только касание формы времени с бесформенной вечностью.

Мне очень трудно сказать тебе в той суматохе, в которой я сейчас пишу, то скорбное и пронзительное, что я знаю в себе как чувство Нового года. Впрочем, ты, я знаю, поймешь меня.

Ведь не простое же стекание времени празднуем мы под Новый год. Ведь есть в нашем новогоднем напряжении и ожидании какое-то предчувствие Чуда. А чудо — дар вечности. Но эта новогодняя философская вечность мистически безлика и метафизически пуста. Отсюда все тревожное, гадательное и колдовское в смятенном лице новогодней ночи. Отсюда ее романтизм. Романтизм — это боль вечности. Романтики — люди, раненные вечностью, но не спасенные в ней. В отношении к подлинно верующим все философы в сущности только романтики.

Вера живет светом преодоленной смерти и не знает мечты. Философия борется с жизнью за осуществление мечты.

Верующие свободны от соблазнов жизни. Как свободные от жизни, они легко приемлют жизнь, а в мечте видят только тлетворный соблазн.

Романтики, т. е. философы, в сущности, жадны до жизни. Эту неутолимую жажду они ощущают, как рабство и муку, и мстят жизни ее отрицанием. В мечте они чают найти пути к вечности, а находят

только вечную боль. Здесь, живя в постоянном общении со смертью, неизбежно постигаешь недостаточность философского романтизма. Это постижение, впрочем, ни на секунду не колеблет моей рыцарской преданности моему личному пути. Эта преданность поставит меня, я знаю, в тяжелую минуту в уровень с нашим батарейным «старцем» Шестаковым. Я только прошу не ходить ко мне за кулисы. А у Шестакова кулис нет...

Ну... пока до свидания. Копейка найдена. Ящик заперт, запечатан и вынесен часовым в двуколку. Иван Дмитриевич облегченно потирает ладони и кричит: «Василий! бриться». На койке Вильзара уже лежат новые рейтузы. Мне тоже пора «наводить лоск». За окном слышны бубенцы: Адрианов прилаживает к саням своих лихих сибирских пристяжных. Наш батарейный повар Гилев, денщик Вильзара, укладывает в корзинку с сеном три бутылки шампанского, а Павел Алексеевич что-то уж очень задумчиво натягивает сапог; как маститый присяжный поверенный¹⁹, он, наверное, готовит патриотическую речь.

1915 год

1 января 1915 г. 5 ч. утра

С Новым годом!.. Мы только что ввалились домой. Поверишь ли, мы заблудились в нашей насиженной Теодоровке. При съезде с шоссе крутили все вокруг одних и тех же халуп и еле нашли свою. Прямо наваждение какое-то.

Встретили мы Новый год очень весело. Напитков было хоть и не очень мало, но и не слишком много, стихия хаоса и бесформенности никого не коснулась. Павел Алексеевич произнес, как я и думал, речь патриотическую, папаша Грацианов (жаль, что ты не познакомилась с ним в Иркутске, он такой милый) — юмористическую, молодой и блистательный поручик Г-ский, представленный к Георгию, — лирическую, а я под влиянием моего вчерашнего письма к тебе — пожалуй что философическую.

Ты помнишь тот Новый год, что мы встречали с тобою вдвоем; осуществляя эту высшую форму, мы говорили о возможной другой.

Большой, высокий, белый зал, без хор, без колонн и без прилегающих комнат; с двух сторон большие, незанавешенные окна: повсюду цветы; за окнами снежная метель; в зале невидимая музыка: маски; никто никого не знает.

Сегодня во время ужина мне вспомнились наши с тобою беседы, и стало думать: думалось в том же направлении, в котором писал тебе вчера вечером. Религия и церковь — откровение о лице. Маска — борьба против лица, лица. Почему для церкви маскарад — бесовское наваждение. Совсем не так для безликой мистики и ее современного двойника — трансцендентальной философии. Маскарад, если хочешь, это легкомысленный, светски-романтический аспект и мистики, и трансцендентализма. Тяготение к новогоднему маскараду рождается

из чувства обремененности за протекшую жизнь своим ликом, образом. А всякий лик для мистика романтика обременителен потому, что мистически романтизм живет тоскою по безликой вечности. В канун Нового года, когда мы почему-то напряженно ожидаем, что вдруг волна времени разобьется о вечность, мы, быть может, острее чем когда-либо ощущаем свой лик, как измену безликой вечности.

Ты понимаешь — мой лик это моя эпоха, мои тридцать лет, моя любовь, моя судьба, т. е. весь я, я как форма вечности. Вечность во мне хочет освободиться от формы моего я. Но я маловерен. Тоскуя по вечности, я одновременно люблю себя, боюсь уничтожиться в ней, и в этой любви и боязни подменяю вечность дурной бесконечностью: хочу не смерти в безликом, а жизни в другом облике. Хочу другого себя, другой любви, другой судьбы.

Самая сердцевина всех этих явлений, конечно, в желании другой любви. Всякая, самая идеальная осуществленная любовь мистически виновата перед своим кануном в том, что осуществила себя через ограничение ликом и образом безобразной и безликой мистически-эротической стихии, а эмпирически в том, что вошла в жизнь по ступеням убитых ею иных возможностей. Эти возможности неизбежно должны воскресать и восставать на любовь соблазном множественности и мечты. Уступать этому соблазну в плане своей подлинной, настоящей жизни не мудро, ибо нет более призрачной связи с вечностью, чем связь через мечту и случайную множественность.

Я это всегда чувствовал, теперь я это окончательно понял. Но все же в душе каждого человека неизбежен и иной план, тот план мечты, в котором как бы по праву скитаются призраки. В этом втором, ирреальном плане я только и утверждаю мой новогодний маскарад, где в условной атмосфере эстетического иллюзионизма моя певучая и острая тоска по вечности так странно преломляется в пленительных соблазнах многоликости.

О маске, мечте и соблазне и была сегодня моя новогодняя речь. Когда я ее говорил, мою душу заметала метель, в снежном тумане проносилась тройка, сквозь прорезы маски на меня смотрели чьи-то давно мне знакомые, где-то за пределами жизни виданные мною глаза. Звон глухих бубенцов сливался со звоном бокалов, а над всем этим миром лилась странная, сладостная, тревожная песнь. Было бесконечно грустно и бесконечно весело, ошеломляло и удивляло то, что удивительна вовсе не война, а эта вечная мелодия Нового года, и в душе восходила радость, что мир крови и лжи отступил перед миром великой и безбрежной лирической стихии.

От моей речи кое-кому из молодых стало грустнее, а полковник Н., в смуглом и волосатом облике которого проступило что-то чрезмерно восточное, внезапно скомандовал тост за русских женщин и за женщин вообще.

Я знаю, ты спасена в лике и тебе по существу чужд мой романтизм. Но все же я так остро опознал и тем обезвредил в себе враждебную тебе стихию, что, уверен, ты не откажешься поднять вместе со мною бокал за Новый год.

К матери.

21 января 1915 г. Яслиска. Галиция

...Сегодня ясный, солнечный день. Под окном слепительно белый, в золотых поблескиваниях снежный холм, по которому снизу вверх круто всходят к синему небу небольшие хрупкие деревца. Переплетный узор их голых веток был вчера вечером так задумчиво красив в темно-синем окне моей сумеречной комнаты.

В Яслиску, где мы стоим со вчерашнего дня, мы пришли с позиций у Воли Вышней, где участвовали в шестидневных упорных боях, закончившихся для нас блестящею победою. Австрийцы потеряли три тысячи пленными, шесть орудий, восемь пулеметов, обоз и сто лошадей. Все боевые дни я вместе с Иваном Дмитриевичем проводил на наблюдательном пункте.

Все время, пока мы воевали в Воле Вышней, стояли прекрасные, морозные, лунные ночи. Бледно-зеленая луна скрывалась лишь к шести часам утра. Ее сменяли мутные ветреные предрассветные часы. Этими часами мы и пробирались на наши наблюдательные пункты, пользуясь прикрытием холмов, перелесков и снежной метелицы. Ехали мы обыкновенно или верхом, или на детских салазках, в которые на постромках впрягали пару маленьких мохнатых чалдонов. С невероятным трудом пробирались мы глубочайшими снегами, где лишь охотничье-звериное чутье сибиряков-разведчиков разнюхивало занесенные тропы в наши окопы.

Наблюдательный пункт всегда открыт, в том смысле, что он может быть всегда открыт австрийцами. Выходить на него надо с опаскою. Лошадей мы потому оставляем за перелеском, а сами тихо и согбенно, что, несмотря на доводы разума, всегда несколько стыдно, крадемся звероподобные в свою нору. Этот момент оставления лошадей похож иногда по своему настроению на тот, в который на скачках при выходе на прямую, или к цирке, во время особенно опасного номера, обрывается музыка и в душе наступает совсем особенная, сосредоточенно-содержательная тишина-пустота.

Недавно нас с Иваном Дмитриевичем прескверно обстреляли разрывными ружейными пулями. Ты не можешь себе представить, какая громадная разница в переживании шрапнели и пули. Шрапнель — вещь вполне рыцарская. Устремляясь на тебя, она уже издали оповещает свистом о своем приближении, давая тем самым в твое распоряжение по крайней мере секунду, чтобы подготовиться и достойно встретить ее; да и ранит она тоже с благородной небрежностью, всего только

одной или несколькими из своих двухсот пуль. В ней столько же фейерверочной праздности, столько смертоносной действительности. Совсем не то ружейная пуля, вся энергия которой направлена на зло поранений и убийства. Она не слышна издали, когда она слышна, она уже не опасна: ее свист, ее разрыв — всегда жалоба на зря, без зла загубленную силу. Все это я пишу, конечно, так, приблизительно, но вот что я определенно чувствую: не дай Бог попасть под настоящий ружейный или пулеметный огонь.

Тебе, вероятно, странно, что три дня тому назад по мне стреляли и завтра будут, быть может, снова стрелять, а я пишу тебе не без уюта и даже не без веселости. Но, во-первых, мною пока что все время владело чувство моего личного благополучия, а во-вторых, право же, все, что мы здесь переживаем, происходит гораздо проще, чем это кажется со стороны. Ужасное слово «бой» означает, слава Богу, для нас, артиллеристов, в большинстве случаев процесс совершенно спокойный, я бы сказал даже идиллический.

Приехав на наблюдательный пункт, мы прежде всего, если это не сделано загодя, начинаем рыть окоп. Сноровка уже есть, земля послушно разverzается, и неглубокая ямка сравнительно быстро готова. Несколько ударов топора, и окоп наполовину покрывается крышей, в отверстие которой просовывается труба. Свежевырытая земля наскоро забрасывается снегом, все сооружение маскируется ельником и внешне пункт готов. Затем вовнутрь стелют привезенную солому и два полушубка. Рядом с нами ставится телефон, перед нами расстилается карта, и начинается обдумывание положения. Изредка слышны выстрелы, временами трещат пулеметы. Кое-какие шальные пули залетают к нам, иногда над нами рвутся шрапнели, но на это никто не обращает внимания. Это все мелочи: наблюдательный пункт не открыт, стреляют не по нас, а если что и залетает случайно, так это не важно. Через несколько времени поступает по телефону приказание обстрелять такую-то высоту. Иван Дмитриевич вынимает портсигар и говорит: «Ну, голубчик, прежде всего перекурим это дело табаком». Я отвечаю: «Перекурим», и мы перекуриваем. Затем он спокойно вычисляет команды, передает их по телефону на батарею и прибавляет: «Огонь». Когда на батарее у Вильзара все готово, мы принимаем с батареи: «выстрел идет», и я становлюсь к трубе, чтобы наблюдать разрывы. Я ясно вижу в трубу окопы неприятеля, высовывающиеся из них и снова прячущиеся головы австрияков, вижу, как наши снаряды попадают около окопов, сообщаю Ивану Дмитриевичу «левее, правее», и мы добиваемся с ним того, что гранаты и шрапнели начинают ложиться прямо в окопы, т. е. очевидно поражать.

Смысл слов об очевидном поражении Ивану Дмитриевичу совершенно не ясен, и он радуется исключительно успеху своего артиллерийского дела. Я сознательно экспериментирую над собою и стараюсь

представить себе этот смысл. Стараюсь точно, конкретно увидеть весь ужас очевидного попадания. Стараюсь вжиться во внутреннюю драму каждой происходящей в окопе смерти, ближайшею причиною которой послужило, быть может, мое «левее» или «правее» — но из этого решительно ничего не выходит. Минутами мой глухой минорный подголосок, который, несмотря на то, в общем, бодрое настроение, в котором мне дано переживать войну, все же живет в моей душе, как будто бы усиливается. Однако следующий же выстрел противника по нашим окопам уже заглушает это усиление, и я с полной нравственной безответственностью, определенно наслаждаясь чаем из талого снега, что в дымном котелке сварили на костре разведчики, и медленно пожевывая залежавшийся в кармане полушубка пахнущий овчиною сухарь, слежу в трубу наши очевидные попадания и, решительно не понимая того, что творю, повторяю все с большим рвением: «верно, прекрасно, так, хорошо».

От желания лучше видеть и общего возбуждения я вылезаю из окопа, становлюсь с биноклем открыто и заставляю Ивана Дмитриевича повторять еще раз последнюю блестящую очередь.

Часов в пять вечера австрийские окопы уже не видны в темноте, и мы получаем приказание сниматься с позиции. Мы едем вниз, едем могучим еловым и грабовым лесом. Стволы деревьев, тяжелые еловые лапы, сплетенные грабовые ветви и сучья, кое-где бурями поваленные старцы, глыбы, скалы, камни и овраги — все это, глубоко занесенное багровеющим на закате снегом и архитектурно объединенное им, представляет собою сплошной лабиринт, сказочную постройку каких-то неведомых титанов. Мне радостно ехать домой, и я очами совершенно невинного существа смотрю на изумительную красоту Божьего мира.

Выезжаем на шоссе. С позиции возвращается батарея. Она счастлива тем, что нынче, слава Богу, довелось пострелять, и я решительно бессилён не сочувствовать этой понятной радости: в душе подымается даже нечто вроде прославления Бога за то, что помог он нам поддержать своими снарядами свою пехоту. Конечно, мне ясно, что такая же «своя» пехота расстреливается нами во вражьем стане, но ее мы не знаем конкретно: австрийцы в окопах для нас не люди, которых мы завтра можем увидеть в лицо, а некий безликий «он». Мы их не видим, потому не знаем; не знаем — не любим. А когда видим и знаем (раненых, пленных) — то любим.

Самое поражающее в войне то, что решительно никто никого не ненавидит. (Я говорю, понятно, о постоянном настроении, а не о моментах остервенения в пехотных атаках и штыковой борьбе.) Убивают друг друга или в неведении того, что творят, или так, по чувству спортивного соревнования. Ненависть же к врагу реально чувствуют лишь в тылу: корреспонденты газет, для которых она хлеб насущный, мечтательные

гимназистки и институтки, добровольцы, не побывавшие на фронте, ренегаты из русских немцев, бойкотирующие немецкие фирмы, и все те, которые в войне и немцах нашли причину и выход своим беспричинным и безвыходным лично-корыстным страданиям и немощам.

Все же действительно ведущие войну, не исключая, конечно, и немцев, глубоко объединены чем-то более важным, чем вражда. Сущность этого объединения заключается, мне думается, в общности судьбы каждого из нас, какою-то таинственной волею поставленного перед ликом смерти и принужденного ею делать наиболее противное каждому человеку дело, а именно убивать людей. Вот этот тождественный в твоей судьбе и судьбе твоего врага момент и есть то самое в войне, в чем мировая любовь и единение людское возносятся и утверждаются над враждою и рознью.

Это совсем не схоластика. Это глубоко реальное чувство, которое каждый раз оживает во мне, когда я вижу, как наш солдат беседует с проходящим пленным. Я вижу, как они глубоко и быстро понимают друг друга, и вижу, что это понимание основано на том, что, стремясь одновременно «снять» друг друга с передовых постов, они переживали каждый в своей одинокой душе одно и то же страшное и тайное.

Покойной ночи. Я иду спать. Как хорошо, что завтра не надо вставать в пять утра и ехать на наблюдательный пункт. Наше пребывание в отделе кончено. На днях мы идем в резерв на соединение с нашей бригадой. Грех сказать, чтобы в Воле Вышней нам было очень тяжело. Тяжело было пехоте, которая каждую ночь мерзла на передовых постах, каждую ночь ходила, святая, в разведку, ходила по глубочайшему снегу в двадцатиградусный мороз, ходила во весь рост в атаку навстречу пулеметам и ружьям. А мы в эти ночи, засыпая, только прислушивались к пулеметной трескотне.

Но все относительно, и я не могу не чувствовать счастья, что эту ночь буду засыпать, ни к чему не прислушиваясь, и что за стеной в ожидании погребения не будут рядом лежать двадцать обугленных морозом трупов...

К жене.

25 января 1915 г. Ладомер Вагаза. Венгрия

Мы снова отдыхаем. Окончив блестящее дело, о котором писал, мы присоединились к нашей бригаде уже не в Галиции, а снова в Венгрии.

Чтобы иметь возможность писать это письмо, я сотворил себе собственный угол. Моя постель отделена от всей комнаты подложенным под нее ковром, вывезенным из Болеграда и теперь постоянно возимым нами с собою. Только что Семен принес мне отдельный собственный стол и зажег на нем две свечи. Так я создал себе нечто вроде кабинета: ковер, стол, постель-диван, свечи.

На сердце у меня сейчас хорошо: спокойно и уверенно. В голове свободно и просторно. Телу после утренней поездки весело и бодро. Грудь наслаждается чистым воздухом хорошего помещения. Мысли и чувства легко снимаются с якорей и медленно на белых парусах плывут к тебе.

Сегодня утром я вместе с Романычем проехал на позиции и наблюдательные пункты третьей и шестой батареи. (Это было совсем безопасно: австрийцы уже второй день не стреляют по артиллерии.) Приехав домой, я пообедал, выпил чаю с прекрасной яблочной пастилой, халвой и сухарями, выкурил папиросу и сел в свой кабинет. Мне так нравится мой кабинет, что я никак не могу написать тебе ничего иного, как то, что я сел в кабинет писать тебе письмо.

День был сегодня (сейчас уже восемь вечера) исключительно прекрасный. Хотя только еще конец января, но уже чувствуется весна. Ты знаешь эту первую весеннюю ласку. Поля в глубоком снегу, но лес уже почернел. На пожелтевшем шоссе рябят темные лужи, и еще скрытый от глаз камень уже звонко цокает под подковой. Было так тепло, что мы ехали без шинелей. Я в моей любимой бобриковой рубашке, что ты одиноко дошивала в ночь, когда мы тянулись через Иркутск из Лесихи в Иннокентьевскую. Какая та ночь была черная ночь, и какое ее сменило дождливое утро. Этим утром я встретил тебя одиноко идущую мне навстречу по запасным товарным путям Иннокентьевской.

Я медленно тебе пишу, ибо в моей душе так медленно течет широкая река воспоминаний. Как всегда над вечерней рекой, над ней, меняя окраску и контуры, задумчиво свиваются и проплывают туманные видения. О, как ясна жизнь в ее смысле и сущности, когда в ней все становится конкретной тайной. В этом вся власть искусства над нами. Вся сила его в том, что оно познает и объясняет мир, не уничтожая его загадки. В сущности, каждое большое художественное произведение есть тайна о художнике, которая почему-то делает понятнее тайну о мире. Так странно, что только загадки разгадывают и только чрез непонятное возможно понимание. Прости, что я повторяю тебе эти мои старые мысли. Но я сейчас снова вижу всю их вечную правду, а потому думаю, что и тебе они покажутся новыми. Ведь и все наше с тобою тоже давнее, а разве оно не обновляется постоянно своею вечностью.

27 января

Как скучно...

Когда идут бои и вся душа твоя напряжена, когда утомительный поход и ты все время внешне занят его свершением, т. е. следишь за людьми, лошадьми и дорогой, ты как-то спокоен и даже радостен. Первый, второй день отдыха тоже приятен. Но вот когда стоишь в резерве уже пятый, шестой и седьмой день, то пес постоянной тоски, минорный подголосок, который живет на дне души и стережет ее, на-

чинает, подлый, понемногу ворчать и погромыхивать своею тяжелою цепью. Чтобы успокоить его, я бросаю ему самые жирные куски моих нежнейших воспоминаний и трепетных надежд. Но, все сжирая, он все продолжает рычать и рваться с цепи. Чем больше ты его гонишь, тем он больше по своей подлой собачьей природе ластится к твоим ногам и лижет твои руки. Только увесистая дубина принудительных внешних событий заставляет его успокоиться. Устал я что-то. И писать хочется, и ко сну клонит.

Сейчас выходил наружу, чтобы прогнать навязчивую сонливость. Тепло, даже тает. С юга дует резкий, но теплый ветер. Он отчетливо доносит, очевидно, усиливающуюся к вечеру перестрелку. Симптом скверный. Как бы нас не подняли ночью и не двинули вперед. Если будет приказ выступать, то он получится самое позднее часам к пяти утра. А сейчас уже час. Спать в таком случае придется немного, а потому ты простишь, если я пока отложу письмо. Знаешь, странно, орудийная стрельба спать не мешает, но четверо наших тикающих часов иногда мешают. Скверно вот только то, что у нас очень много мышей. Одна сейчас, как безумная, куролесит в ящике с провизией. Я положил на ящик два тяжелых полушубка и надеюсь, что Семеша²⁰ ее завтра утром изловит...

28 января

Слава Богу, ночь прошла благополучно. Нас никуда не потянули, и я снова могу писать тебе. С добрым весенним утром. Под окном слышны молодые голоса. Раздаются команды. Это к нам в дивизию пришло новобранское пополнение. Бесконечно жалко смотреть на молодых парней. Можно с уверенностью сказать, что мало кто вернется домой здоровым и неизувеченным, а многие уже в ближайшие дни будут убиты. Полки редуют ежедневно. В победоносных боях, о которых я уже писал тебе, наш полк потерял половину своих людей.

Полк пополнят пришедшим пополнением; пополнение это снова перебьют; придет второе пополнение — месяцев через пять не станет и его и т. д.

О если бы кто-нибудь из пламенных защитников войны с национально-культурной точки зрения должен был бы взять на *свою единственную* ответственность все эти молодые жизни, если бы он *своею волею* должен был бы заморозить дыханием смерти все эти молодые жизни и навек задушить все эти звонкие голоса, то, я уверен, в мире не нашлось бы ни одного защитника войны. Потому она только и возможна, что все ее ужасы решительно никем не переживаются, как ужасы, причиняемые *мною — тебе*.

Нет, Вильгельм воюет по воле народа. А немецкий народ воюет во имя великого государства и во славу Вильгельма. В сознании Германии ответственность за войну падает на Россию и Англию. В сознании

России и Англии — на Германию. Войска калечатся и умирают потому, что этого требует от них народ, как нация. А нация, как мирный народ, отрицает войну и жаждет мира. Все эти противоречия восстают на мир сплошным безумием, а умные люди услужливо оправдывают войну, во-первых, потому, что ум по своей природе услужлив, а во-вторых, потому, что ум не переносит безумия. Безумие же спокойно царствует в мире, прикидываясь высшею мудростью и Божиим Судом.

Я твердо верю, что «Бог судил иначе».

В это я верю, но завтра, если мы пойдем на позицию, я снова буду стрелять без всяких угрызений совести. И пусть мне не говорят, что причина этого противоречия в том, что мое отрицание войны поверхностный интеллигентский рационализм, что я в душе ее приемлю. Нет, причина в том, что я, как и все, *личной ответственности* за все происходящее не несу; формулы Достоевского, что «каждый за все и за всех виноват»²¹, в сущности душою не постигаю, не осиливаю...

Пока кончаю. Это письмо пойдет прямо в Россию. Его опустит нижний чин, который едет в Харьков, так что ты его, наверное, получишь.

К жене.

5 марта 1915 года. Ядловка (Венгрия)

...Как странно, что так не странно странное... Я сижу в очень хорошей комнате: прекрасные размеры и пропорции, два больших окна. Между ними письменный стол, за которым я пишу это письмо. У противоположной стены герметическая изразцовая печь. Посреди комнаты обеденный стол, покрытый клеенкой, рядом с ним два мягких кресла и высокий детский стульчик. Как странно представить себе в нем ребенка... Пол в комнате паркетный, а беспорядок чисто мужской.

Я пишу тебе совсем мирное письмо, а австриец стреляет по дому. Шрапнели рвутся у окон, у балкона, в саду, на дворе. Трубка одной из них недели две тому назад пробила потолок и пол нашей столовой. Мы тоже не молчим. Командир в соседней комнате по телефону обстреливает австрийские бомбометательницы.

Через час я поеду на позицию сменять Ивана Дмитриевича, и меня абсолютно не волнует, что австриец может запустить по деревне как раз в ту минуту, когда я буду садиться на лошадь, и может случайно попасть в меня так же, как он в первый день нашего въезда в Ядловку попал в молодого, красивого, белозубого разведчика Баранова, весть о смерти которого только что поступила в нашу батареиную канцелярию.

За два часа до ранения командир ударил Баранова стеком по шее за то, что тот не исполнил приказания и не переменил уставшей под ним лошади. Желая настоять на исполнении отданного распоряжения, командир вернул Баранова на бивак, приказав ему переседлать коня.

Баранов вернулся, задержался и, проезжая опасное место на четверть часа позднее, чем проезжал бы, не встретясь с командиром, попал под разрыв шрапнели, был ранен в бок и умер. Теперь командир, кажется, кается и страдает, хотя он, в сущности, ни в чем не виноват, удар стеклом в его глазах не грех.

Да, привычка это, конечно, не все, но это больше, чем очень многое, это почти все.

В вагоне ночью, когда мы подъезжали с тобою к Лукову, было минутами почти совсем по-настоящему страшно. А теперь ничего не страшно, что составляет нормальную военную опасность. Страшно лишь то, что является военной ненормальностью: обстрел в походном движении, ружейные пули в открытом поле, проезд батареи в относительной близости к неприятельским позициям днем или когда нет тумана и т. д.

Ну, Бог с нею, с войною... Вот только меня крайне беспокоит брат Л. Что у них творилось, сказать очень трудно. Наши официальные источники крайне скупы в сообщении того, что нам стоило вырвать у немцев наш контр успех. Немецкие же сообщения (как раз на днях мне в руки попала немецкая газета, найденная в захваченном австрийском окопе) гласят о потере нами 300 орудий, а это колоссальный масштаб, даже и в том случае, если немцы удвоили цифру отобранных пушек. Может быть, и даже очень вероятно, что Л. попал в плен. Конечно, для него, и как для патриота и как для неврастеника, плен будет ужасен, но все же мы с тобой только и можем от всей души желать этого плена.

Страшно, невыносимо страшно представить себе его, именно его, со всею микрокосмичностью его души, умирающим где-нибудь на окровавленном снегу в проволочном заграждении, совсем, совсем одного... А ведь ранен он быть не может, об этом мы бы уже давно знали.

7 марта

Третьего дня я писал тебе, что еду на позицию сменять Ивана Дмитриевича и что, возможно, австриец запустит по мне шрапнелью. Сон оказался в руку. Когда я возвращался домой, вокруг меня низко разорвались четыре снаряда. Сей фейерверк произвел сильнейшее впечатление на моего молодого, массивного, горбоносого и долгогривого Чукура (мой казенный конь из нового привода, на собственном я теперь только катаюсь), и он попытался проявить весь юный пыл и задор свой. Но он не англичанин, сдержать его тучную кровь было нетрудно, и мы с ним ограничились тем, что дрожа и храпя, вскочили коротким галопом на довольно крутой и вязкий бугор. Сзади нас таяли в синем, весеннем воздухе четыре красных шрапнельных облака.

Не правда ли, деталь батальной картины в духе Паоло Учелло²² или Тинторетто²³. Главное сходство в коне; солдаты называют его

геройским и форсистым, а подпоручики «креслом и шкафом». Таких коней именно и писали старинные мастера.

Твое известие, что Миша Н. легко ранен, как это ни странно, страшно обрадовало меня. Служба в пехоте, особенно нижним чином, так тяжела, что легкая рана представилась мне благоприятным временным исходом. Но ужасно было прочесть в следующем письме, что он умер. Так и вижу его в американских ботинках и лиловых носках, в идеальном проборе и черном смокинге отплясывающим вальс или венгерку. Милый он был человек, такой ласковый и нежный. Но никто бы не предсказал ему по всему его облику его монументальной судьбы, его двух крестов, Георгиевского и деревянного. Даже и сейчас, когда я уже все знаю, я никак не могу связать его светлый, жизнерадостный образ с темным образом смерти. Как-то не к лицу ему смерть, и от этого кажется, что он все еще жив. Господи, всюду смерть. Известие за известием. Не могу тебе сказать, как я боюсь за Л. Смертное поранение в артиллерии как-никак все же только весьма вероятная возможность; в пехоте оно почти что непреложный закон. А потом постоянное пребывание под ружейным огнем — я как-то уже писал тебе об этом — страшно действует на нервы. Недавно я это снова испытал на наблюдательном пункте. Знаешь, на этом пункте мне довелось на совсем маленьком обыденном примере очень остро пережить всю нравственную трудность войны.

Пришли мы на пункт отвратительный, совсем открытый, под ружейным обстрелом, рано утром, еще в сумерках. Стали связываться с командиром, оказалась нехватка в проводе. Надо, значит, кому-нибудь из разведчиков возвращаться обратно. Между тем стало уже совершенно светло, и обратный путь стал крайне опасен. И вот тут-то передо мной внезапно и обозначился вопрос: кого послать? Кого подвергнуть? А они ждут; и хотя оба парня безусловно храбрые, и каждый пойдет, не сморгнув, я все же вижу, что они *ждут*. Не могу тебе передать, до чего мне было трудно решить сознательно тот вопрос, который я бессознательно решал уже бесконечное число раз. После секунды почти что отчаяния, я принял Соломоново решение, я послал обоих. Вот тебе голый факт, раскрой его, и ты получишь вполне определенную философию войны. Просидели мы с поручиком Г-им на нашем пункте целый день, а когда стало почти совсем темно, собрались и побрели к себе на батарею. По дороге попали под весьма значительный ружейный обстрел. Вероятно, в предупреждение атак с нашей стороны, австрийцы засыпали наши окопы пулями. Мы шли сзади наших линий и вдоль них, а потому все перелетные жужжали, а разрывные и рвались вокруг наших голов. Мы шли домой есть и спать, больше нам ничего не предстояло и по всей обстановке предстоять не могло. Мы имели полную возможность и полное нравственное право залечь и переждать обстрел. Но мы этого не сделали,

мы шли во весь рост, подвергая смертной опасности друг друга и наших разведчиков.

Вот и пойми: с одной стороны — у людей хватает храбрости исключительно по своей собственной воле подвергать себя возможности смерти; с другой — у них не хватает храбрости сознаться, что это все же ложно, бессмысленно и не совсем благополучно в отношении последнего внутреннего кокетства и самолюбия.

С точки зрения старого капитана толстовского «Набега» мы вели себя не храбро, ибо, по его мнению, храбр лишь тот, кто делает всегда то, что нужно; мы же делали то, что решительно никому и ни на что не было нужно.

Принципиально я согласен с капитаном, но непосредственно мне храбрость нарядная много симпатичнее храбрости рассудительной, дельной. Почему — сказать трудно, но, вероятно, потому, что в плоскости храбрости нарядной человеку не за что спрятаться, если он струсит, а в плоскости храбрости дельной можно всегда спрятаться за нецелесообразность храбрости в этом деле. Вопрос о храбрости очень сложен и очень интересен. У меня много материала, но сейчас писать невозможно. Насколько я наблюдал, существуют три основных типа храбрости: во-первых, храбрость самозабвения, основанная на утрате чувства личности; во-вторых, храбрость долга, основанная на воле создания своей личности; и, наконец, храбрость убожества, основанная на полном отсутствии фантазии, на невоображаемости образа ужаса; ее не мало.

Но это тема большая, пока кончаю.

К матери.

18 го марта 1915 г. Альзодор (Венгрия)

...Как мне грустно, что так редко пишу тебе. Грех сказать, что нет времени. Время есть, но окончательно нет тишины, нет одиночества. Всегда нас четверо в одной комнате, всегда, кроме того, в этой же комнате писари, артельщики, фельдфебеля, разведчики; доклады и приказания о сене, овсе, скотине, и все это приправленное тою фантастическою руганью, что, бывало, слышишь на улицах Москвы Великим постом, когда на оттаявшей мостовой одичалые, охрипшие ломовые беспощадно хлещут заскорузлой вожжой по грязному пузу выбивающейся из сил лошади, которая прыжками силится сдвинуть с места сани, нагруженные морожеными свиными тушами. Я написал о Москве совершенно неожиданно, по инерции, а инерция, вероятно, от тоски по ней.

Вот только дописал до точки, и уже помешали. Пришел артельщик с докладом, что корова заколота и «обделана». Пришлось встать, надеть шинель и отправиться по невылазной грязи к той опостылевшей палке, на которой каждый день взвешиваю «перед» и «зад» отобранной

у братьев-галичан коровы. Взвесил: пять пудов десять фунтов. Распорядился покупать к Пасхе творогу и яиц, велел зарыть в яму валявшиеся у «убойного» места кишки и глаза коровы и вернулся писать.

Сегодня пошла уже седьмая неделя, как мы бесменно стоим на позиции. Первую я тебе уже описывал. После этого, постепенно продвигаясь вперед, мы переменили еще три. Сейчас у нас стреляет только один взвод, а два других стоят на отдыхе в деревне. Стало легче: каждый из нас занят только каждый третий день. Я был на взводе третьего дня и завтра еду опять.

Там, наверху, очень красиво. Рано, часов в шесть, выезжаешь из грязной, туманной деревни, а наверх приезжаешь в тишину, чистоту и совсем еще по-зимнему оснеженный лес.

Третьего дня я впервые дежурил на новом наблюдательном пункте. Его нашел один из наших разведчиков — Тихон Васильев, сибиряк-охотник, куцый, корявый, коротконогий парень; песельник, плясун, озорник и великий любитель «поразведать неприятельскую силу». Лицо у него стихийно уродливое: не лицо — рожа. Но в этой роже светлые смеющиеся глаза, а в них ясная, простая детски-звериная душа, словно человек в открытом окне.

Приехал я туда часам к семи.

Присел за дерево, осмотрелся. Наши передовые пехотные посты (мы стоим в прорыве, сплошной пехотной цепи нет) у меня за спиной, шагах в 30–40. Я сам нахожусь на скате горы, обращенном к неприятелю. Его пехотные окопы у моих ног, верстах в двух или ближе. День ясный, и я отчетливо различаю в бинокль силуэты австрийцев. Надо не обнаруживаться, и я ищу скрытого и уютного угла. Скоро таковой находится. Шагах в десяти от меня замечаю нечто вроде беседки, связанной из молодых елей и еловых сучьев. Перед беседкой стоит старая высокая сосна. Я очень благодарен австрийцам, которые здесь были всего только два дня тому назад, за их беседку, и мне очень нравится сосновая мачта пред нею. Я прячу людей в беседку, а сам с наблюдателем Овчинниковым сажусь за ствол сосны. Овчинников ввинчивает в него десятикратную трубу Цейсса²⁴ и наскоро строит перед нею нечто вроде балконной балюстрады, которая скрывает нас с ним от австрийских наблюдателей.

Один телефонист располагается со станцией в беседке, а другому вместе с разведчиком я приказываю рыть за беседкой глубокий окоп. Через 3–4 часа пункт окончательно оборудован, и я люблюсь его порядностью и уютом, совершенно так же, как любовался, бывало, своей квартирой.

На этом пункте я *впервые самостоятельно* стрелял; не только, значит, стоя у трубы наблюдал разрывы, не только следил за правильным исполнением командирских команд на батарее, но сам *единолично* принимал решение выпустить или не выпустить снаряд, т. е. попытаться убить или

не пытаться. Очень трудно мне объяснить тебе что-либо, очень трудно даже и самому понять это, только никаких нравственных сомнений я не испытывал и совершенно спокойно передавал на батарею нужные команды. Выпустил я сорок восемь снарядов, убил ли кого или нет — не знаю, но определенно держал австрийцев в страхе Божиим и отнюдь не позволял им укрепляться. А укрепляться они мастера великие. В три дня у них любая местность превращается в полевую крепость. А наши, о Господи, ничего-то им не надо. Выроют себе, как куры в пыли, по ямке, бросят на дно охапку соломы, и ладно. Спрашивал я их сколько раз: «Отчего, ребята, не окапываетесь как следует?» — отвечают: «Нам, ваше благородие, не к чему. Ен оттого и бежит, что хороший окоп любит. Из хороших-то окопов больно неохота в атаку подыматься. А из наших мы всегда готовы». Вот и пойми, где тут смешок, где лень, где святость.

20 марта

День моего дежурства прошел. Длинный он был; а прошел незаметно. Рано утром выехал по подсохшему шоссе. Всем своим существом чувствовал весну и чувством весны жил во всех пережитых веснах. К батарее уже подымался мерзлою грязью. С батареи отослал назад лошадь, сменил сапоги на валенки, взял палку, нагрузил разведчика своим полушубком и, по колено проваливаясь в снегу, побрел на наблюдательный. Шел снег. Австрийцев не было видно. В Страстной четверг Господь спустил меж нами Свой небесный занавес, чтобы не искушались мы, враждующие, попыткой взаимного убийства.

В окопе уже сидели телефонисты: Шестаков, высокий, благообразный, рябой выпрямленный человек в длинной бороде; старовер, не курит, не пьет и, несмотря на очень трудную работу, всю Страстную усиленно постится, живет одним черным хлебом и снежным чаем, без сахара. Рядом с ним Готлиб Бетхер — красивый, голубоглазый блондин, немец-колонист, из довольно зажиточных землевладельцев.

Шестаков встретил меня печальной жалобой: «Вот, ваше благородие, в какой день и какое довелось дело делать — передавать в эту чертову машину, как лучше человека убить, и опять же христианина». Бетхер страстно оспаривал Шестакова. Его речи сводились к следующим трем доводам: 1) «Без машины человеку никак не управиться, 2) мы с тобой ни при чем, потому мы поставлены начальством, и ежели не мы, то будут другие, и 3) все это не твоего ума дело».

Шестаков защищался вяло, как будто стыдясь и себя, и своей совестливости, и меня, и всего разговора. Бетхер говорил пренебрежительно, предполагая во мне сочувствие своему просвещенному взгляду на вещи. Я слушал и упорно молчал. Хотел, чтобы оба высказались окончательно. Спор был крайне интересен. Русская и современно-немецкая точки зрения на жизнь вообще и на войну в частности утверждались здесь друг против друга с редко типичной отчетливостью.

Бетхер — абсолютное утверждение машины, т. е. цивилизации, полное отрицание личной ответственности на почве погашенности личности властью коллективно-государственного начала и характерное ограничение своей мысли областью своего профессионального дела.

Шестаков — отрицание цивилизации, острое чувство того, что «каждый за все и за всех виноват», и занятость философскою мыслью, не имеющею непосредственного отношения к его прямому делу.

В результате этой противоположности Бетхер — старший телефонист с Георгием, а Шестаков — подчиненный ему рядовой работник команды связи, которому часто достается и от Бетхера, и от командира.

Пока наши дела хороши; но если они и испортятся, у России будет на то оправдание. В глубине сердец своих лучших людей, в глубине народного сердца, Россия безусловно выше войны. Подгуляла только, судя по газетам и кое-каким дошедшим до меня слухам, наша интеллигенция: московские славянофилы, петроградские кадеты, поэты, присяжные поверенные, светлые личности и вся свора резвых, но узко-лобых борзых нашей публицистики, — все это, кажется, согласно ради победы над немцами предать все русское и на время превратиться в самых современных немцев. Разве не скверно-современная немецкая мысль о культурном и миротворческом значении бронированного кулака переливается всеми цветами радуги в столь популярных ныне рассуждениях на тему о том, что разгром Германии необходим во имя культуры, свободы и прочного мира? Откуда эта националистическая и антинациональная вера в разрешение огнем и мечом вопросов духа и жизни. Не может быть двух мнений о том, что эта новая русская вера гораздо ближе духу мемуаров «железного канцлера»²⁵, чем святоюродствующему отрицанию войны Толстым и славянофильской формуле Достоевского: «Быть русским — значит быть всечеловеком»²⁶.

Я отнюдь не пораженец. Это явление совсем другого порядка: не эстетического, а чисто политического, и то, что я хочу сказать, никоим образом с ним не связано и не ведет к нему. Я очень страдаю, что у нас недостаток в снарядах, телефонах, проволоке и многом другом (на днях штаб дивизии назначил расследование: по какой цели и с какими результатами выпустили мы за день около десятка шрапнелей). Но если мне тяжело от нашей государственной неподготовленности к войне, то мне вдвое тяжелее от нашей внезапно сказавшейся духовной подготовленности к оправданию и приятию войны.

Я ничего не имею против Бетхера-телефониста, но Бетхер-публицист мне органически противен. В области духа я жажду не безответственного бетхеровского пафоса войны, а глубокой шестаковской скорби о ней.

Мало-помалу Шестаков перестал отвечать Бетхеру и уныло замолк. Я утешил его, что сегодня стрелять не приказано, да и снег, неприятеля не видно; сел в окоп и стал перелистывать случайно оказавшиеся

у меня в кармане «Ночные часы» Блока. Шестаков попросил почитать ему громко. Стихи о России ему понравились, что он выразил словами: «это житейское», стихи же о Мери²⁷ он не одобрил, отчетливо заявив, что «это ни к чему». Однако Блок все же не для него, и мы перешли к «Мертвым душам». Тут к нам присоединился разведчик Прощаев, маленький, широкоскулый гном с громадной рыжеватой бородой (на действительной служил в кавалерии и очень горд этим), и наблюдатель Бабушкин, похожий на китайца и очень обиженный за это сходство на судьбу.

В двенадцать приезжает разведчик, заботливо нагруженный Вильзаром всякими приятностями. Сначала я насыщаюсь под кофе, потом наслаждаюсь под чай. Конечно, это деление призрачно, — как все дистинкции²⁸ отвлеченного немецкого разума, прибавили бы в славянофильской Москве, — ибо как мое насыщение таит в себе наслаждение, так и мое наслаждение довершает мое насыщение. Но извиняюсь за попытки остроумия. Я хочу сказать совершенно простую вещь, а именно то, что сначала, учинив готовый кофе со сливками, я ем котлеты, ветчину, колбасу и сыр, а потом, заварив чай, уничтожаю бисквиты, тянучки и снежные трубочки Эйнема.

После обеда на театре военных действий начинает медленно подыматься снежно-мглистый занавес. Откуда-то из-за боковых туч ударяют яркие лучи весеннего солнца, и я вижу в трубу с моего балкона привычные австрийские окопы, ход сообщения и группу синих горбатых длинноногих силуэтов (австрийцы высоко на спине носят ранцы), словно вышедших из пьесы Метерлинка в постановке Мейерхольда²⁹.

К вечеру все торжественнее и величавее разгорается красота мира. Солнце начинает медленно садиться, знаменуя свой уход в иные страны возложением пламенеющих венцов на снежные вершины. Дали все более и более раздвигаются вширь и вглубь. Черно-лиловые пятна хвойных лесов все резче вычерчиваются на розовеющем фоне снегов. Стекла австрийской деревни загораются красно-желтыми огнями.

Командир передает мне по телефону разрешение сниматься, и я с моим штабом (Шестаков, Бетхер, Бабушкин, Прощаев) отправляюсь на батарею.

На душе тихо, грустно, и вдруг вспоминается: «И в небесах я вижу Бога»³⁰. Одновременно я уже говорю: «Направить все орудия по цели № 2, выставить караулы, связаться через прикрытие с соседним полком, прикрытие высылать дозоры к логу на 622, и т. д.» Все это я делаю и с очень большим вниманием, как будто понимая всю важность того, что я делаю, и с абсолютным тупоумием, как будто все это делаю не я, а кто-то другой. Покончив с распоряжениями, я еду вниз в Альзодор.

Теперь я попрошу у тебя извинения, мне страшно хочется почитать. Я почитаю часа два, а потом, если все останется по-прежнему тихим, буду продолжать это письмо.

28 марта

Я уже снова давно не писал тебе. За это время выяснилось, что письмо это пойдет в Москву с оказией, и потому я продолжаю его в повествовательном духе.

21-го, т. е. в Страстную субботу, нам была неожиданная радость. В то время, как я был на наблюдательном пункте, мне вдруг потелефонили с батареи, что прибыл полковник, командир казачьего дивизиона, который просит меня спуститься вниз. От себя телефонист радостно прибавляет, что «слышно, нас сменяют». Я кубарем качусь на батарею и обстоятельно докладываю полковнику всю обстановку: расположение австрийцев, наше расположение, пристрелянные цели, рисую ему панораму с наблюдательного пункта, показываю ему карту, и т. д. и т. д.

Хотя он и полковник, он лишь очень туго понимает то, что мне, прапорщику, ясно, как день. Это явно зависит только от того, что полковник совершенно не хочет занимать под Светлый праздник неуютную горную позицию, а я очень хочу сняться в Страстную субботу с позиции. Но, к моему счастью, его полковничья воля сейчас для меня не закон.

В шесть вечера казаки с гиком и свистом нагаек поднимают свои орудия на гору, а я сажусь верхом и барином еду вниз.

Приехав, я застаю у себя в комнате привезенные из Москвы Грациановым ящички. Настроение у меня самое светлое, самое пасхальное. Семен тащит воды холодной и теплой и готовит шампунь для головы, бритву-жилет, одеколон. На койке он раскладывает чистое белье, новую кожаную куртку, новые перчатки и новый стек, все подарки, привезенные Валерианом Ивановичем.

Как хорошо, что все пришло так вовремя, как вдвое хорошо, что под Светлое Воскресение судьба разъединила меня и пушки.

Я тщательно моюсь, бреюсь и медлительно одеваюсь. Смотрюсь в зеркало. Ты бы меня не узнала: от моей бритой, бабьей брюзглости не осталось и следа. Лицо похудело, загорело и стало много мужественнее. Волосы «по-русски», небольшие усы и борода делают меня окончательно похожим на меня в роли Петра Ильича (помнишь мое первое выступление, Степана Павловича и Черногубову?).

Мой туалет завершают фиалки, которые живо напоминают мне твои единообразно-изящные шляпы и весь твой пленительный образ: на шелковом платке присланные тобою духи, что вызывают в памяти с детства знакомый мне запах верхнего правого ящичка твоего комода, в котором в образцовом порядке хранятся фишю, перчатки, кружева и твои полумужские крахмальные воротники от Лулу и Брикэ.

В девять мы сели за легкий обед, новый командир, Вильзар, я и двое гостей. Пообедав, мы окончательно прибрали комнату, накрыли пасхальный стол: кулич и пасха, присланные из Москвы, пасха, «сооруженная» нашим хозяйственным командиром, львовский окорок

ветчины, в изготовленной Гилевым бумажной горжетке, яйца, очень удачно выкрашенные луком, красными канцелярскими чернилами и лиловой мастикой для казенных печатей, две бутылки вина (Вильзар получил красное, а я твое «Опорто») и бездна всяких сладостей.

В одиннадцать мы поехали в Свидник, небольшой, окончательно разрушенный и нами, и австрийцами городок (в нем штаб дивизии и управление бригады), в котором была назначена служба. Командир, Вильзар и один из наших гостей поехали в экипажах, а я с новым дивизионным адъютантом Михаилом Лаврентьевичем — верхом.

Ночь была чудная: теплая, тихая, звездная, полная немых надежд и тихих упований. Я ехал все время шагом. Колесников далеко позади, так что я еле слышал переступанье его лошади. Каждый по-своему думал о своем...

Приехав в Свидник, мы зашли в управление бригады, откуда целою гурьбой направились в церковь. Старая, причудливая, она смутно выделялась своими белыми стенами из сумрака еще безлунной ночи и заунывно звала своим великопостным звоном.

Церковь была полна солдат, лишь кое-где по углам, при входе, притаилось несколько галичан в белых расшитых костюмах. Мы прошли вперед: в левом приделе собралось все офицерство с начальником дивизии во главе. Началась служба. Мы отстояли только заутреню (командир очень спешил домой), похристосовались друг с другом и вышли. Месяц стоял уже высоко на небе. Само небо было светлее, глубина ночи — мельче. Было два часа утра. Чувствовалось, что ночь идет на убыль и что завтра взойдет светлый, солнечный день, светлое Христово Воскресение.

Разговевшись дома, мы поздно легли спать и проснулись на следующий день лишь к десяти утра. За окнами виднелось яркое синее небо. Золотые снопы солнечных лучей жарко горели на нашем самоваре и светлыми зайчиками дрожали на потолке. Слышалась лихая гармоника и неустанный топот солдатской пляски.

Одевшись, я вышел на шоссе в деревню. Картина была крайне живописная: всюду пестрые группы галичан, — женщины, дети и старики, краснопапашечные казаки в лихих вихрах, нарядные псарские мундиры и наши серые артиллеристы, все это, забыв все, кроме того, что нынче праздник, жило одною, общею жизнью, пело, плясало, гуторило, смеялось.

После чая мы с Вильзаром велели оседлать лошадей и в самом безоблачном настроении поехали опять в Свидник с визитами к начальству. Но тут нас ждало жестокое разочарование. Оказалось, что нам сегодня же нужно двигаться вниз по фронту, чтобы 23-го на рассвете принять участие в назначенном всеобщем наступлении.

Что делать; вернулись домой, наскоро собрали вещи, уложились и в восемь вечера тронулись в путь. К двум ночи прибыли в назна-

ченную деревню. Ночевали уже в совершенно другой обстановке, чем вставали. Спали начеку, одетыми, с минуты на минуту ожидая приказа о дальнейшем движении. Вокруг дома рвались тяжелые, и Вильзар, поставивший было свою койку под окном, переселился по настоянию командира в более глухой угол.

В шесть утра получили приказание двигаться. Вскочили и немедленно пошли вперед. Верст на пять все уже было очищено от неприятеля. Мы шли по шоссе. Слева и справа санитары подбирали последние трупы. Навстречу попадались пленные австрийцы, которые несли раненых стрелков. На хороших англазированных лошадях прошли три отобранных нами тяжелых австрийских орудия. Очевидно, ночь была для пехоты ужасная, и наши сибиряки, и пленные австрийцы были рады, что как-никак, а все же она кончилась. Проходя мимо нас, партии пленных отдавали нам честь; некоторые по-штатски снимали фуражки, кто-то с окровавленным лицом крикнул «Христос Воскрес». Наши батареи приветливо отвечали пленным и весело шли по все дальше и дальше раскрывавшемуся ущелью.

Странно, встречаясь с побежденным врагом, ты определенно испытываешь к нему некоторую нежность. Чувство это по своему психическому составу очень сложное: в нем есть и хорошая, простая жалость человека к человеку, и умиление перед своею доблестью, и ощущение того удовольствия, которое враг доставил тебе тем, что дал себя победить, и даже благодарность ему за это доставленное тебе удовольствие.

В десять утра мы в самом победоносном настроении встали на позицию деревни Сосфюрет и открыли огонь. Скоро мы его прекратили. Наступило общее боевое затишье.

В последнее время в батарее нас было только двое, я и Вильзар, а потому командир предложил одному из нас ехать отдыхать, чтобы подготовиться к ночному дежурству, а другому остаться на батарее. Мы тянули жребий, ночь досталась мне, и я отправился в Сосфюрет, в халупу, уже занятую нашими денщиками. Приехал, Семеша разложил постель, и я заснул, как убитый. Однако скоро проснулся от сильного огня, как артиллерийского, так и ружейного. Встал, вышел на крыльцо и вижу, как из лесу соседней горы на голый скат, сбегаящий к шоссе между Сосфюретом и Радомкой, выскакивают австрийцы. Мне совершенно ясно, что они ведут крайне успешное наступление с целью отрезать от наших главных сил деревню Радомку, находящуюся верстах в двух от Сосфюрета. В Радомке расположен штаб одного из наших полков и часть наших сил.

В первый раз я видел пехотный штыковой бой, как «на ладони». Сначала завязалась перестрелка, потом на опушке леса показались австрийцы. Наши кинулись им навстречу. Раздалось «ура...а». Австрийцев, очевидно, было больше, и нашим приходилось трудно.

Бросаясь вперед, они волной скатывались вниз и их «ура» сразу же превращалось в страдальчески воющее «а... а... а...». Потом жалобное «а... а...» снова выросло в победное «ура... а...».

Отбой наших сил сменялся прибоем... В эту минуту через мою голову со страшным шумом и свистом пролетела тяжелая бомба и разорвалась, очевидно, у нас на батарее, которая стояла позади деревни. Одновременно с тяжелой открыла огонь и легкая артиллерия. Стрелял противник, стреляла и наша четвертая батарея. Пехотный поединок на высоте 356 затуманился артиллерийским дымом. Почти на одном и том же месте рвались наши белые и австрийские красные снаряды.

Австрийцы, очевидно, одерживали верх. Еще несколько минут — и обе деревни могли оказаться у них в руках. В Сосфюрете находился только полевой лазарет, телефонная станция одного из батальонов, командир которого, бледный и взволнованный, только что провел своих людей на подкрепление нашим частям, три наши офицерские двуколки при ездových, денщики и я. Я приказал запрячь лошадей и оседлать свою. Но куда двигать двуколки? По шоссе назад, на батарею? Но батарея и, главное, шоссе, видимое неприятелю, обстреливаются тяжелыми снарядами...

Все уже готово, но я медлю и, не отрываясь, смотрю в бинокль на 356. Над головой свистят ружейные пули, но я прекрасно знаю, что там, где я стою, ни одна не может меня задеть, и в этом отношении я совершенно спокоен. Вдруг что-то со стоном падает к моим ногам. Наклоняюсь и вижу — раненый. Зову доктора, который находится тут же и, очевидно, лишь с трудом преодолевает свою робость. Санитары тащат раненого в халупу, и доктор прежде всего приказывает ему не выть: «Жив остался, перевязку тебе делают, чего тебе еще? Чего орешь?»

Солдат рассказывает, что в то время, как он кричал ура, пуля пронизала ему обе щеки и выбила зубы. За первым раненым прибегает второй, третий... Четвертый, которому оторвало пальцы, отказывается от перевязки, говоря, что его послали за водой для тяжело раненого и что он забежит потом. В это время из штаба полка начинается явное бегство. Первою предвестницей нашего несчастья прискакала, очевидно, ошалевшая от тяжелых выстрелов лошадь полкового адъютанта. Ей вдогонку принесся еще более ее испуганный ординарец, сообщивший, что весь штаб переходит сейчас сюда, так как австрийцы грозят отрезать Радомку. Тяжелые все продолжают громить шоссе и нашу батарею. По Сосфюрету они, слава Богу, еще не ложатся. Я решаю потому двуколки пока не двигать, а самому ехать на батарею, так как Вильзар там один, а здесь мне делать нечего. Сажусь на лошадь и трогаюсь, приказав денщикам, как только австриец перестанет стрелять, подтягиваться к позиции.

Тяжелое и трагическое всегда спутается в жизни с каким-нибудь комическим моментом. Только что я тронул лошадь, вдруг вижу, как

к деревне подбегают две странные фигуры: обе растерзанные, растрепанные и обе в своем внешнем облике какие-то шиворот-навыворот. Присматриваюсь и вижу: мужчина в юбке — батюшка, и женщина в штанах — жена полкового адъютанта. Задыхаясь и перебивая друг друга, они сообщают, что был прорыв, что четвертый батальон, хотя и с запозданием, все же подоспел, пока что атака отбита, но в общем положение все еще не твердо.

Я еще с минуту медлю, получаю те же сведения от подходящего командира полка и рысью трогаюсь на батарею.

Еду и слышу, как меня со страшною быстротою нагоняет тяжелый. В первый момент инстинктивно вырастает желание пустить лошадь вскачь, но тут же пронзает мысль, что на том свете будет крайне стыдно, если окажешься умершим благодаря попытке убежать от смерти. Я перевожу лошадь в шаг и слушаю, как «он» подвигается. Тут вторая глупейшая мысль: лучше бы попал в меня завтра, а то сегодня и так ужасно болит голова. Но одновременно я соображаю, что боль от попадания в голову пули или осколка едва ли будет больше ввиду моей головной боли. И это меня утешает. Все это чувствуется и думается с молниеносной быстротой.

Снаряд разрывается сзади меня, и я вижу, что от той халупы, из которой я только что выехал, осталась всего только одна труба.

Я приехал на батарею в самый раз. По приказанию командира Вильзар ставил рядом с первым взводом еще второй и третий. Во время их выезда на позицию батарея обстреливалась, люди и лошади страшно волновались и бедный Вильзар разрывался от тщетных усилий привести весь этот хаос в порядок. К довершению всего панически бежавшие из обстреливаемой Радомки провиантские двуколки порвали нашу телефонную связь с командиром батареи, и мы окончательно сели на мель.

В восемь часов вечера все, наконец, смолкло и успокоилось. Безмолвная и, как в Свиднике, безлунная, звездная ночь спустилась на землю. Мы отошли к нашим передкам, которые стояли саженях в ста за батареей; соорудили себе на обочине шоссе ширмы из попон и брезентов, поставили самовар, зажгли две свечи, достали ветчину, куличи, пасху, яйца и стали пить и есть. Из темноты в наше светлое пятно то и дело вступали то люди, то лошади и, промелькнув, снова терялись во мраке. Проходили усталые пленные со смутным образом той снежной Сибири перед глазами, о которой они слышали столько ужасов: проходили легко раненные, пронося сквозь круг нашего света свои руки, пальцы и головы в окровавленных бинтах; прошла, чуть не разорив наш домашний очаг, опаленная, местами в одной коже, лошадь; показались носилки с тяжело ранеными. Раненые стонали и просили: «Ради Бога, потише...»

После ужина командир пошел спать в санитарную двуколку, а мы с Вильзаром, найдя более или менее сухое место близ шоссе под бе-

резой, велели денщикам разложить наши постели и легли одетыми, завязавшись в спальные мешки, покрывшись полушубками.

Стало совсем тепло и как-то колыбельно уютно. Сознание, что сюда вряд ли долетят тяжелые, разве только случайные, так и баюкало душу. Лежа рядом и смотря сквозь ветви березы на звезды, мы докуривали по последней папиросе. Было тихо-тихо. В ближнем лесу что-то не то заплакало, не то застонало. «Это сова?» — спросил я Вильзара. — «Нет, вероятно, неподобренные раненые стонут», — ответил он, помолчав. С этим странным диалогом на устах заснули мы с ним крепким честным и трудовым сном на второй день Светлого Христова Воскресения, кстати сказать, совпавшего на этот раз «у нас» и «у них».

К жене.

1 апреля 1915. Сосфюрет (Венгрия)

Я ужасно долго не писал тебе. После письма, переданного тебе Грациановым, написал еще два письма. Одно ты получила; получила ли второе — не знаю. Телеграмму к Пасхе послал в день Светлого Воскресения. Твою поздравительную получил вчера.

Маме я шлю с подателем сего большое письмо-хронику. Из него ты узнаешь все внешние события за последнее время: работу на Страстной, встречу Пасхи и бои на Святой. Тебе же я хочу написать нечто совсем другое, но сейчас мне мешает какая-то тяжелая усталость. Думаю лечь на время; быть может, после сна будет лучше писаться...

Уже восемь дней, как мы живем в окопах. Три холодных ночи я спал просто на шоссе под открытым небом; остальное время то торчал на позиции под дождем, то вертелся в нашей тесной и мокрой дыре, постоянно задевая локтями то один, то другой предмет. Не выдержал и третьего дня затеял себе отдельный от всех окоп. Взвод постарался, и у меня получился почти что дворец, т. е. комната в четыре шага ширины, в четыре с половиною длины, и такая высокая, что я могу в ней свободно стоять во весь рост. Печники сложили мне каменную печку, столяры сделали два стола, один обеденный, другой — «барыне письма писать», как объясняет Семен, еще какие-то специалисты вставили окно и выложили весь куб тесом. Сейчас я впервые забрался в мое новое помещение. Перед тем как сесть писать тебе, я чисто прибрал свою горницу: попросил вымыть пол, нарубил сосновых веток и все убрал ими. Затопил печку, закрыл дверь, и стало совсем уютно. Пахнет сосной, сигарой, которую мне подарил милейший Иван Дмитриевич, к моему величайшему огорчению, переведенный под Пасху во вторую батарею, одеколоном и мылом. На мне надета только что присланная тобою шведская курточка и новые желтые сапоги. Маленькое пасхальное яичко так и висит на пуговице куртки, как ты его повесила. Как грустно, что ты не можешь заглянуть ко мне. У меня, право, так хорошо, что я мог бы достойно принять тебя. Так

уютна зеленая кровать среди зеленых лап сосны и можжевельника; так задумчиво разговаривает сама с собою догорающая печь; так невелико окно, которым мой шалашик смотрит на лесистый овраг, что мы должны были бы тесно прижаться друг к другу, чтобы смотреть на тихий сыроватый осенний день...

1 апреля. 10 ч. вечера

Днем мое письмо прервали. Приехали два поручика второй батареи, пришел с наблюдательного пункта командир. Все забрались ко мне, весело поздравляют с новосельем, кричат хором, что достаточно писать. Я покорился, быстро подсунул письмо под газету и стал ждать вечера. Вечер наступил. Вильзар с вновь назначенным к нам поручиком пошли в свой окоп, а мы с командиром (он окончательно перебрался ко мне) сели каждый за свой стол; он достал Джека Лондона, а я письмо. Достать-то я его достал, но чувствую, что долго не пропишу. Я уже днем жаловался тебе на сильную усталость, к вечеру она возросла: болит голова, и какая-то круглая ложка выворачивает правый глаз из глазной впадины — знаешь, как мороженики вынимают летом свою шарообразную порцию сливочного или фруктового. Ты простишь потому, если строки мои будут сегодня совершенно не тем, чем они хотели бы быть.

Вчера, дежуря на батарее и лишь изредка постреливая по неприятельским окопам, я перечитывал «Дворянское гнездо». Наслаждался я бесконечно, и грустно мне было так, как, кажется, не часто бывало. Почему мне было так хорошо, почему мне было так грустно, мне тебе не сказать. Я сам еще не постиг ни этой новой открывшейся мне красоты, ни этой новой моей грусти. Когда я в последний раз читал «Дворянское гнездо» (это было много лет тому назад), для меня на первом плане стояла трагедия Лизиной любви. Помню, я досадовал на Лаврецкого и, ставя себя мысленно на его место, определенно чувствовал в себе волю к нашему с Лизой счастью, определенно ощущал свой долг вырвать Лизу у стен монастыря во имя подлинной святыни любви и страсти.

Теперь все было совершенно иначе. Меня потрясла вовсе не трагедия Лизиной любви, но совсем иная трагедия присужденности всего живущего к старости и смерти. Я понял, что Лиза уходит в монастырь совсем не потому, что к Лаврецкому вернулась Варвара Павловна. Совсем нет. «Христианином нужно быть вовсе не для того, — заговорила не без усилий Лиза, — чтобы познавать небесное там, земное, а потому что каждый человек должен умереть»³¹.

Это «должен умереть» одни из первых слов, сказанных Лизой Лаврецкому. В ее остром чувстве страшного смысла этих слов и кроется только и замеченная мною на этот раз причина ее ухода в монастырь. И от этих слов неизбежной смерти, прочитанных мною между двумя

батареями очередями по окапывающимся австрийцам, совсем по-новому раскрылся мне весь роман. Я как-то совсем по-новому заметил, что в «Дворянском гнезде», за исключением пустого, бездушного, а потому и недостойного старости и смерти Паншина, совсем нет людей нестарых и, что важнее, не стареющих на глазах у читателя. Со страшной грустью увидел я, что в Васильевском Лаврецкому служат два обалделых от старости существа, что Марфа Тимофеевна и Настасья Петровна глубокие старухи, что Лемм одною ногою уже стоит в могиле, и что его слова «alles ist todt und wir sind todt»³² невероятны по жестокой своей выразительности. С новою грустью и новою взволнованною внимательностью следил я за тем, как прекрасно и тонко описаны у Тургенева признаки начинающейся старости у парижской львицы Варвары Павловны, как быстро зреет ее упрежденный в своем развитии городской ребенок, кукла-статуэтка Адочка. Знаменательным показалось мне и то, что у того мужика, который так истово молился в церкви в час последнего свидания Лизы и Лаврецкого, только что умер сын. Все это и многое другое с какою-то новою зоркостью и новою бдительностью внимательно выслеживалось и выпытывалось мною у совершенно нового для меня романа, и когда, наконец, оно, все это тайное, острое и неумолимое о старости и смерти, вдруг собралось и вылилось в словах Лаврецкого: «здравствуй, одинокая старость, догорай бесполезная жизнь», то я безумно испугался за великую покинутость Лаврецкого в жизни и внезапно понял, как прочны и спасительны белые стены Лизиного монастыря. Как мне захотелось в монастырь, Наташа, как я остро почувствовал, что все стареет, и что я старею, и что жизнь уходит, и что жизнь ушла...

Вот сейчас разорвался за оврагом тяжелый. Это перелет по батарее.

Теперь дальше все очень смутно и странно: жизнью я почувствовал в себе все неизжитое мною, все мои бедные мечты, так одиноко и сиротливо слоняющиеся по пустынному Божьему миру, а монастырем воссияла мне моя настоящая, реальная жизнь, моя любовь, мое счастье, ты. И, Боже мой, смогу ли сказать тебе, как страстно мне захотелось укрыться и от моей мечты, и от грядущей старости и смерти за крепкою, высокою и белою, за монастырскою стеною нашей любви. Да, здесь я понял, что нам с тобою нужно прочно держаться друг за друга, что мы друг для друга все, что больше у каждого из нас ничего нет, что пышный сад нашей любви уже задумался над ждущей его осенью, что он, хотя и не скоро, а все же уж завтра прострет свои ветви в зимнюю стужу...

Да, в сущности, вся жизнь есть умирание, «alles ist todt und wir sind todt».

Конечно, думал я обо всем этом не в первый раз, но вчера в моих осенних думах была какая-то новая яркость и небывалая острота. Может быть, потому, что рождавшейся во мне песне без слов о нашем

счастье, все более и все безотменнее оковываемом смыкающимся кольцом грядущей смерти, так дружно аккомпанировали и вся моя теперешняя жизнь, и ранняя весна, похожая на глубокую осень... Сидел я в окопе с закрытыми глазами. Мокрый брезент у входа судорожно бился в холодном, осеннем ветре, свистевшем, казалось, у меня в позвоночнике. Ноги замерзали в мокрой соломе, а в голове и в висках разгорался какой-то не то нервный, не то лихорадочный жар.

Душу все еще стерегли воспоминания о пасхальных днях, когда после тяжелой боевой работы (я только чудом спасся) мы темною ночью пили чай на шоссе, создав уют и домашний очаг между двумя попонами, и чувствовали себя такими счастливыми и укрытыми по сравнению с проходившими мимо пленными, ранеными и теми еще неподобранными, стоны которых временами доносились до нас...

А над этими картинами ада возносился, как на старых иконах, райский мир только что прочитанного «Дворянского гнезда». Как странно, Наташа, что райский мир на этот раз мне рисовался миром смерти. Красота строгого искусства Тургенева как-то беспереходно сливалась с красотой моей жизни. И так отрадно мне было сознавать, что когда я вернусь в свое гнездо, то не под моим пальцем и не в чужом доме, и не чужим одиноким стариком сочиненная раздастся песнь моей любви, но ты сама сядешь за наше старенькое пианино и сыграешь мне 3 этюда Шумана, вальсы Шопена и прелюдию Скрябина, что так часто играла мне, когда мы были молоды.

Я сидел, думал и грезил. Дождь хлестал все сильнее. Все злее и отчаяннее метался брезентовый парус у входа в окоп. Голове становилось все жарче, а ногам все холоднее, и так отчаянно хотелось комнаты с мягкой мебелью, свечами и ковром (ведь есть же, наконец, где-нибудь в мире комната, в которой свечи не гаснут от ветра) и твоей милой руки душистой и в знакомых кольцах. И так окончательно все это было недостижимо, и так ничего не ждало впереди, кроме ночи в улучшенном окопе и еще долгих дней войны. Мне чувствовалось, что со мною творится что-то неладное, что я заболеваю...

3 апреля

Я отпросился у командира отдохнуть и на сутки уехал в ближайшую деревню, где с величайшим наслаждением просидел свой отпуск в полном одиночестве. День выдался спокойный и ясный. Я с давно неиспытанным удовольствием ходил, ни с кем не сталкиваясь, по довольно большой избе и думал свою думу, ни разу не прерванную никаким грубым окриком на нижних чинов. О, если бы чаще были такие дни; как бесконечно легче было бы переносить войну. А то вот сейчас мы стоим на отдыхе, а душевно никакого отдыха не получается: в двух маленьких комнатах нас десять человек. Два командира беспрестанно кричат на оторопелых солдат и ставят несчастных под рюкзак за то, что

в колодцах мутная вода; кто-то играет на фисгармонии, двое что-то поют, а двое других хмуро и зло ходят маятниками по комнате. Особенно раздражает ругань. Временами прямо-таки судорога схватывает горло. Сегодня снова очень болит голова.

5 апреля

Я всегда был и всегда останусь идеалистом в философском смысле этого слова. Я вполне согласен с нашими академическими защитниками духовного смысла войны, или, вернее, я согласен с Платоном, Аристотелем, Спинозой, Малекбраншем, Кантом, Фихте, Шеллингом, Гегелем и Соловьевым в том, что жизнь, факт, не есть последнее, ведомое сердцу и доступное постижению. В мире, конечно, наличествует нечто бесконечно превышающее жизнь, как факт, наличествует то, чему можно и должно приносить в жертву фактическую, эмпирическую жизнь. Это высшее дано вере — как Бог, философии — как идея, искусству — как образ, всякому обыкновенному смертному — как любовь и мечта, сыну отечества и патриоту — как родина, ну и т. д. Все это самоочевидности. Отсюда понятно, что война может быть событием хотя и трагическим, но праведным и священным, может быть делом священного принесения народами жизней своих сынов в жертву наджизненной национальной идее.

Но для того, чтобы осуществлялась такая священная война, в ее основе должны быть нерушимы следующие два условия: во-первых, идея, во имя которой люди приносят в жертву свои всегда и во всяком случае драгоценные жизни, должна быть действительно Божественной идеей, а не человеческой выдумкой, а во-вторых, каждый — исключения абсолютно не допустимы — кто несет свою жизнь к священному жертвеннику, должен быть безусловно охвачен и проникнут, более — должен быть всецело, во всем своем бытии и существе, убит и заново рожден этой идеей.

Я хочу сказать, что священная, да и просто честная война возможна исключительно при условии свободной и добровольной отдачи каждым воином своей жизни в жертву той идее, в осуществлении которой он видит единственный или, по крайней мере, высший смысл своей жизни.

Между войною, которую мы переживаем, и нарисованною мною войною, сходства нет. Одно из двух: или то, в чем я участвую, не есть война, а ужасная бойня, или то, что я определил как войну, не есть война, а есть некое теургическое действие, или называй как-нибудь иначе, это все равно.

Когда защитники духовного смысла войны «творчески горят о войне», они вряд ли достаточно ясно видят, что здесь у нас происходит. Они вряд ли узревают, что здесь над миллионами людей, поставленных в ряды защитников родины, отнюдь не созерцанием идеи, а при-

нудительной силой государственной власти ежедневно приводятся в исполнение неизвестно кем по какому праву вынесенные смертные приговоры. Они не узревают, что подавляющее большинство воюет только потому, что попытка избежать вероятной смерти в бою ведет прямым путем к неминуемой смерти по суду через повешение.

Это «эмпирия», с которой нельзя не считаться. Пребывая в постоянном созерцании ее, я не могу не видеть, что о свободном приятии нашими солдатами в свою жизнь наджизненной идеи войны и жертвы могут говорить только самые неисправимые, слепые фанатики или самые отъявленные, лицемерные мерзавцы.

Нет, я решительно отказываюсь религиозно или философски оправдывать не идею войны, а ее современное воплощение, и отказываюсь потому, что воочию вижу, как нашим «христоробивым» воинам спускают штаны и как их секут прутьями по голому телу, «дабы не повадно было». Впрочем, зачем же сразу говорить о порке? Разве недостаточно того, что всех наших солдат ежедневно ругают самую гадкою руганью и что их постоянно бьют по лицу? Ну как же это так? Людей, доразвившихся до внутренней необходимости жертвенного подвига, да под ранец, да первым попавшимся грязным словом, да по зубам, да розгами... И все это иной раз за час до того, как бивший пошлет битого умирать и смертью сотен битых добьется чина или Георгия.

И это священная война? Нет, пусть ко мне не подходят с такими словами. Ей-богу, убью и рук своих омыть не пожелаю. Я уверен, что я ничего не окрашиваю в личный цвет; наоборот, мое личное самочувствие много светлее моей точки зрения на вещи. Я лично прежде всего страшно заинтересован всем происходящим во мне и вокруг меня. Я живу сейчас так интенсивно, как еще никогда не жил. Я безусловно сильно отстану от передовых людей науки в книжной начитанности, но я с каждым днем все яснее ощущаю, как я сам в себе крепну и утверждаюсь. Во мне сейчас много самого первозданного знания о самой сущности жизни. Тургенев прекрасно написал графине Ламберт: «Возможность умереть в самом себе есть, быть может, одно из самых сильных доказательств бессмертия».

Очень легко, впрочем, отрицать войну, как дело, совершаемое всем человечеством. Много труднее отрицать ее, как дело народа, которому брошен вызов. Страшно трудно сказать, что нужно было делать России в ответ на объявление ей Германией войны. По существу возможен только один ответ. Поднять со всей Руси все святые и чудотворные иконы и без оружия выйти навстречу врагу. Как ни безумно звучат эти слова, серьезных возражений себе я не вижу. О том, что неприятие войны с религиозно-нравственной точки зрения много выше, чем самое честное и даже вдохновенное приятие ее, не может быть и речи. Претерпевать страдания неприемлющим пришлось бы такие же, что и приемлющим, но им не пришлось бы их никому причинять. Что же

касается практической точки зрения, то, во-первых, решать вопросы нравственно прежде всего и значит решать их независимо от практических результатов принимаемых решений, а во-вторых, не страшное ли то заблуждение, что банкиры устраиваются в жизни практичнее юродивых? Наконец, вольны ли мы вообще ставить все эти вопросы, раз они абсолютно решены во Христе. Нельзя же действительно быть христианами и во имя Христа убивать христиан! Исповедовать, что «в доме Отца моего обителей много», и взаимно теснить друг друга огнем и мечом. Я всем своим существом чувствую, какая громадная правда жила в Толстом и в его утверждении, что война, суд, власть — все это ложь, сплошная ложь, сплошное безумие. Кто это понял, тот понял навек. Я чувствую бессилие всех «мнений» о войне, я знаю о ней истину.

Не могу больше думать, расскажу тебе лучше, как я недавно не то в мечтах, не то в забытьи был в Москве. Приехал я на Брестский вокзал и вышел на платформу. В Москве стоят иногда прекрасные ранние весенние вечера. Мостовые чисты и влажны, небо синее, прутья и листочки деревьев после короткого весеннего дождя как-то особенно свежи, за оградами... Я взял хорошего извозчика и тихо, обязательно тихо, поехал по Тверской к Страстному. Ах, как хорошо ехать, как мягко сидеть, как притаилось сердце, как глубоко затонула в захоло-нувшей крови всякая мысль. Я боюсь повернуть голову, боюсь снять ногу с ноги, безумно боюсь потревожить приснившийся мне сон наяву. Еду и все прошу тише, тише, и все смотрю, смотрю по сторонам. Странно, все настоящее, самое настоящее, привычное, московское. Так, значит, Москва еще есть, а ведь мне не верилось. Вот трамваи, те самые, что шли по Тверской ранним весенним вечером, когда мы, встретив вернувшегося из-за границы Л., ехали с ним в коляске вдоль всех бульваров на Остоженку. А вот и нелепое, памятное здание счетоводных курсов Езерского, где я впервые слушал златокудрого дионисиста³³ с его характерною походкой, изысканным наклоном лвиной головы и прекрасными белыми руками с черным перстнем. Еду дальше и все смотрю. Особенно странно видеть изящных, нарядных женщин; почти непонятно, что это за существа. Помнится, я бывал когда-то среди них; впрочем, это, кажется, был не я. А вот направо ворота с двумя львами. Помню, были, кажется, в моей прежней жизни такие ворота. Был и тот книжный магазин, в котором я покупал книги, когда писал о Достоевском. Итак, я, правда, в Москве. Итак, я действительно я. Вот этот я, который едет сейчас на извозчике в серой шинели, в высоких сапогах, в усах и бородачке, и есть тот же самый, который сидит с ним рядом, бритый, длинноволосый, в широкополой шляпе и широком пальто. Как странно, ах, как странно, как странно все. Но если я, правда, в Москве, почему же мой странный спутник-двойник не говорит мне самого главного; зачем он показывает мне трамваи, здания,

а не везет меня прямо к тебе. Я хочу спросить его, но почему-то не спрашиваю. Наконец, я решаюсь... «Николай Федорович, вы, может быть, съездите завтра поискать боковой наблюдательный пункт»... Я встаю с постели, лежа на которой я грезил наяву; вся раскрывавшаяся предо мной жизнь внезапно отлетает, и в душе остается зияющая пустота, в которой мечется одинокая, злая тоска...

Я не знаю, что со мной случилось в последнее время, но мне стало много тоскливее. Думаю, что причина этой перемены в нашем новом командире, от которого в значительной степени зависит общевойсковое настроение. Когда нами командовал Чаляпин, мы жили прекрасно. Он такой милый, внимательный, уютный, и когда нет боев — такой веселый. А наш новый георгиевский кавалер, изумительный офицер в бою, в мирной жизни безнадежно мрачен, суров, угнетающ и страшно крут с солдатами.

Сейчас его нет дома, и у нас очень уютно. Вильзар сидит за фисгармонией и одним пальцем тянет разные ноты. Он очень удачно подражает всяким инструментам: то слышится скрипка, то флейта, то человеческий голос.

Так ярко вспоминается, как в полутемном театральном зале, когда партер еще совсем пуст, в ложах бенуара и бельэтажа видны только дети и подростки, и лишь верхние ярусы уже набиты народом, настраивается великолепный оркестр Большого театра. Андрей Карлович очень музыкален и в свою шуточную импровизацию так незаметно и искусно вплетает один из лейтмотивов Тристана³⁴. А на моем столике стоят духи. И вот это сочетание музыки, театра, моих дум о Тургеневе и запаха духов как-то окончательно надрыгает мою душу. Боже, что отдал бы я за то, чтоб быть в Москве с тобою... Сейчас я даже сомневаюсь в моем основном убеждении, что бесконечность любви на земле заключается в ее трагической необходимости отрицать любимого человека, как свой конец и свою вершину. Сейчас я верю, что любовь есть вовсе не любовь к тому, чего нет, а к тому, что действительно есть. Хотя, может быть, это только потому, что ты мне сейчас постольку же дана, поскольку и взята у меня. Как мне не хочется кончать это письмо. Но надо. Часов в шесть вечера наш фейерверкер отбывает в Москву. Как я хотел бы быть на его месте. Но это праздная мечта. В нашей дивизии отпускают очень туго; в других, более счастливых в этом отношении, уже все офицеры побывали в отпуску, а некоторые так и по два раза. Впрочем, и у нас ездили в Москву уже четверо офицеров. Может быть, если бы я очень похлопотал, то и мне удалось бы вырваться недели на две. Но я все еще внутренне не решил ехать ли мне. Во-первых, уж очень будет трудно возвращаться, а во-вторых, против поездки живет во мне какое-то странное, почти суеверное чувство. До сих пор я не разрешал себе в пределах моей военной жизни никаких личных желаний или нежеланий. И мне кажется, что за эту покорность война была ко мне

милостива. Я боюсь, если я разрешу себе по отношению к ней свою волю, то и она проявит в отношении меня свою темную, жестокую власть. Мне почему-то думается, что если я сам корыстно выхлопочу себе отдых и свидание, то у судьбы будет как будто больше права, не оставив от меня ничего, что можно бы было похоронить, закинуть мою руку на макушку сосны. Романыч, которого на днях чуть не убило, — разрывная ружейная пуля ударила в бинокль и искривила его — видел такую картину. Ты подумай, как странно: бинокль был совсем случайно как раз в этот день неправильно надет денщиком Романыча на другую сторону ремня, за что денщику и попало утром.

Вот какие чувства не пускают меня в Москву. Однако думается мне и обратное: как раз потому, что каждую минуту может прилететь восьмидюймовая, мне абсолютно необходимо рассказать тебе все, что довелось мне пережить со времени нашей разлуки, что пришлось передумать, перечувствовать и заново создать в себе за эти тяжелые месяцы. Мне необходимо жизнью завещать тебе себя. Вот ты и подумай про себя, хлопотать мне о командировке или нет, и напиши, как решишь.

*Сергею Г-ну*³⁵.

10 апреля 1915 г. Месциско (Венгрия)

Прости, что до сих пор не собрался еще написать тебе, хотя бы несколько слов. Большое тебе спасибо за память твою, за письма, за шоколад, папиросы и обещанную статью.

Не пишу потому, что слишком хотел бы писать и тебе, и В., и И., и еще очень многим. Минутами, когда голоса войны стихают, до меня явственно доносятся голоса «интеллектуальной» России. Я страшно жалею, что самые острые проблемы решаются и самые горячие споры протекают во время моего пребывания за границей, т. е. в Галиции, а теперь в Венгрии.

Я жалею, но у меня есть и одно большое утешение: если мне только дано будет вынырнуть живым и физически здоровым (за мое духовное равновесие я совершенно спокоен) из моря событий и случайностей войны, то моим пребыванием в первом ряду сражающихся я куплю право говорить о войне все то, что буду о ней думать, и возможность думать о ней то, что она на самом деле есть.

Мое основное сейчас убеждение то, что все, кто пишут о войне, решительно ничего в ней не видят и не понимают. Ты не можешь себе представить, до чего часто мы все, т. е. офицеры нашей бригады и наших полков, громко и весело хохочем, читая в окопах получаемые нами «Русское слово», «Огонек» и др. органы. Я уже не говорю о таких «лапсусах», как утверждение, что «гранаты, разрываясь, осыпали окопы шрапнельными пулями», или о рисунке с подписью «Наши казаки рассматривают неприятеля в дистанционную трубку».

Таких курьезов в каждой газете десятки, причем, конечно, не важно, что есть люди, не знающие разницы между дистанционной трубкой и подзорной трубой, гранатой и шрапнелью (слава Богу, что такие еще есть), но очень важно, что как раз они пишут о войне. Не говорю я и о безответственных дедукциях наших побед резвым пером словоблудствующего М. Ведь его статьи — не статьи, все акты того доверия, которое русское общество оказывает нам, защитникам родины; ну как не соврать на почве нравственной поддержки общества и материальной поддержки себя. Хотя все-таки было бы лучше, если бы он писал лишь в расчете на профессиональную необразованность читателей, а не на их поголовную человеческую глупость. Однако еще решительнее и очевиднее скудоумие жанрописцев войны.

Заведуя с самого формирования батареи артельным хозяйством и все время покупая, т. е. отбирая за деньги, у нищих галичан их предпоследних коров, я отлично понимаю, почему, расставаясь с коровой, галичанка плачет, кричит, целует мои руки и кусает руки того солдата, который уже накидывает веревку на рога моей жертвы.

А вот Евгений Ч. не понимает этого и удивляется нежной любви галичанки к своей корове, удивляется, как это галичанка сохранила такую любовь к скотине среди зла, ужасов и смертей, взволновавших человеческую жизнь. Этакая, подумаешь, нежная душа у галичанки; душа подлинной русской женщины.

А вот публицист «Русского слова» рассказывает о том, как русский солдатик (до чего я ненавижу эту уменьшительную форму!), накормленный в Тарнове австрийскими сестрами милосердия, просит у них «счет». Узнав же, что его кормят не ради денег, а во имя Бога, все еще долго топчется на пороге и, наконец, смущенно сует сестре в руку пятиалтынный. Какая отвратительная двойная ложь! Во-первых, ложь эстетическая: что это за солдат, который просит «счет» (ложь образа); во-вторых, — ложь метафизическая: русский солдат прекрасно понимает, когда его кормят во имя Бога, и когда ради денег. Он не публицист и денег с Богом не путает.

Читали мы тут тоже, как русские солдатикки ухаживают за юными добровольцами, как берегут им лучшие порции, как покрывают их ночью всяким тряпьем, чтобы не мерзли хрупкие тельца. На самом же деле мы видели нечто совсем другое. В нашей же батарее было семь юных добровольцев (теперь ни одного не осталось, все «поутекали» обратно), что явились к нам с лозунгом «Или грудь в крестах, или голова в кустах».

Солдаты все, как один, относились к ним с решительным недоброжелательством, а подчас и с явным презреньем и ругали их самыми отборными словами. Я ни минуты не хочу сказать ничего скверного о наших солдатах. Прекрасные люди, нежные души. У меня с ними совершенно исключительно хорошие отношения. Но, прекрасные

люди, они прежде всего настоящие реалисты, и им глубоко противно все зрящее и показное. Добровольцев они презирают потому, что добровольцы пришли в батарею «зря», потому что они ничего «настоящего» все равно делать не могут, потому что их привела в ряды защитников отечества не судьба, а фантазия, потому что для них театр военных действий в минуту отправления на него рисовался действительно всего только театром, потому, наконец, что добровольцы эти бежали от того глубоко чтимого солдатами священного, полезного и посильного им домашнего труда, который после их побега остался несвершенным на полях и в хозяйствах.

Так врут или, по меньшей мере, детонируют все газетные живописцы войны. Брюсов и А. Н. Толстой³⁶, к сожалению, тоже не исключение: читая их, получаешь впечатление, что они задались целью изобразить поверхностностью своих наблюдений быстроту автомобильного бега.

Хуже, однако, чем ложь фактописи ужаснейшая ложь нашей идеологии. «Отечественная война», «Война за освобождение угнетенных народностей», «Война за культуру и свободу», «Война и св. София», «От Канта к Крупну» — все это отвратительно тем, что из всего этого смотрят на мир не живые, взволнованные чувством и мыслью пытливые человеческие глаза, а какие-то слепые бельма публицистической нечестности и философского доктринерства. Вот тебе пример.

«Война объединила общую скорбь и общую судьбою русских, поляков и евреев» — это из газет, а вот что у нас. Галиция, весна, прекрасная погода. По каменистой горной дороге несутся вскачь паршивенькие санки. В санках, вытрепав наглый чуб из-под папахи, сидит молодой казак. Верхом на запряженной в сани тощей кляче, у которой ребра как ломаные пружины в матрасе, трясется в седых пейзажах рваный, древний «жид» с окаменевшим от ужаса лицом. Казак длинным кнутом хлещет «жида» по спине, а жид передает удар лошади.

При гомерическом хохоте группы солдат и большинства офицеров этот погромный призрак скрывается за поворотом дороги.

Это я видел сам. А вот рассказ очевидца. На шоссе, пересеченном оставленными австрийскими окопами, встречаются казак и солдат. Остановившись, солдат жалуется казаку, что сапог нет и взять негде. Первый совет казака поискать в окопах, нет ли где на трупики (окопы — надежные склады, и трупы единственно честные интенданты). Но вот на шоссе показывается обутый «жид». У казака мгновенно является великодушная мысль подарить солдату «жидовские» сапоги. Сказано — сделано. «Жид» пытается протестовать. Казак возмущен, и «народный юмор» подсказывает ему следующую штуку: «скидавай штаны», обращается он к солдату. Понимая идею товарища, солдат быстро исполняет приказание. «Целуй ему задницу, благодари, что жив остался», кричит казак «жиду», заноса над ним свой кулачище.

Совершенно оторопелый «жид» беспрекословно исполняет требование, после чего все трое расходятся по своим дорогам.

Страшно, что все это могло произойти. Страшнее, что всему этому мог быть свидетелем офицер, но самое страшное то, что, благодушно рассказывая этот номер за коньяком, рассказчик определенно имел у своих слушателей огромный успех.

Если бы эти факты были всего только голыми фактами, то о них не стоило бы говорить (в семье не без уroda), но ведь эти картины почти скульптуры, больше чем факты, они — памятники целому периоду нашей недавней истории. Да и история ли уже наше недавнее прошлое.

Я не пессимист и не спорю. Многое уже, конечно, изменила война, еще больше она, вероятно, изменит: общее страдание народы нашей Польши, конечно, пережили, и общее страдание, конечно, объединяет, но говорят об этом у нас как-то не так, как нужно. Вина Германии, конечно, сделала свое дело, но ведь и наша вина вершила свои дела. А чьи дела крупнее, и чья вина тяжелее, Ты, Господи, веши.

Я, конечно, не забываю, что одно дело наше правительство, другое — общество. Но, во-первых, и в Германии правительство и общество не одно начало, а два, а во-вторых, и у нас правительство и общество не два начала, а одно, ибо формула нравственной ответственности вполне точно дана Достоевским: «Каждый за все и за всех виноват».

К жене.

18 апреля 1915 года. Сосфюрет. Венгрия

...Знаешь, я, оказывается, очень привязался к Поповке. Мне очень много вспоминается она в эти весенние дни. Когда езжу верхом, когда так особенно и характерно пахнет лошадиным потом и мокрым ремнем, когда между лошадиными ушами бежит да бежит себе дорога, а по ее сторонам, вращаясь на поворотах то медленнее, то быстрее бегут себе да бегут то только еще вспаханные (галичане зачастую пахнут между нашими и австрийскими окопами), то уже зеленеющие полосы весенней земли, то мне так хочется сесть верхом не на моего «батального Чкура», а на моего прекрасного Красавчика (где-то он теперь?) и поехать себе березовым леском в Векшино, а от Векшина на Редькино, а с Редькина на шоссе, а по шоссе к доктору. Доктор же отсюда уже определенно поэтичен. Он вовсе уже больше не просто доктор Борис Владимирович, нет, он предмет чеховской кисти, он деталь нашей поповской жизни, он жанровая черточка поповского пейзажа, он драгоценная бутафория одного из актов нашей многоактной пьесы, и я люблю его, как актер любит костюм, грим, иссохший венчик своего бенефисного спектакля... И знаешь, так чувствуют решительно все, все живут прежде всего воспоминаниями. А это всегда значит, что настоящая жизнь — жизнь вечернего отлива, отбоя. Очень это

странно, но настроение призванных к «наивысшему подвигу» сынов России трагически похоже на настроение изгнанных из России студентов-эмигрантов и политических беглецов. Та же стонущая тоска в настоящем, то же лирическое настроение, как основной душевный колорит, та же поэтизация прошедшего, та же возносящая и разрывающая, спасительная и тлетворная мечтательность. Отсюда и наш граммофон, и гитара, и Вяльцева, и Панина, и все застольно-русское, грустно-цыганское, надрывно-самовлюбленное, себя уязвляющее и свои раны лелеющее, все то, к чему все мы так привыкли, что так любим, что знаем с ранней юности, как типично русское настроение всякой студенческой комнаты, что все не раз переживали, слушая затянутую хоровую песню, во что влюблялись в чеховских постановках Художественного театра, что и Федю Протасова³⁷ увлекло и завертело, заставив признаться, что любит он не Бетховена какого-нибудь, а вот ее, цыганку Машу, с гортанными звуками ее песни и передергиванием плеч, что с таким изумительным совершенством воспринял и выразил Александр Блок в своих мистически-кабацких стихах.

Но разве это настроение, если его даже взять в его мистическом, а не в его кабацком смысле, есть настроение героев и воинов? Разве можно воевать с такою лирическою растопленностью в душе, не превратив для себя лично войны в каторгу? Разве можно каторжанам быть строителями свободы и всемирного освобождения? Разве можно с дрожащих струн рокочущей гитары спускать в сердца врагов отравленные стрелы? При этом подчеркиваю, что описанное мною настроение есть, без сомнения, одно из самых высоких настроений, что ныне владеют нашим офицерством. Выше него поднимаются лишь немногие действительно героические личности, — ниже его, все те тупицы и карьеристы, которые бьют и ругательски ругают нижних чинов, а себе устраивают, смотря по вкусу, чины, награды или тыловые места.

Это офицерство. Солдаты прекрасны, но все поголовно мыслят войну как испытание и искушение, ожидая с часу на час правды и замирения. Кроме того, они все отлично понимают, что война, хотя и очень тяжелая субъективно вещь, по существу обман и наваждение; важно же в объективном смысле совсем другое, а именно их личное оставленное домашнее дело: луга, пашни, скот, недостроенные избы. В родной земле и в привычном труде они соборно и согласно чувствуют настоящую, высшую правду — реальность, а в войне они ее не чувствуют и войны потому не уважают.

К жене.

25 апреля 1915 г. Месциско. Венгрия

Пишу тебе наскоро. Совершенно неожиданно узнал сегодня, что в Москву отправляется нижний чин второй батареи. Много не напишу: во-первых, солдат торопится, во-вторых, душа полна такого нетерпе-

ливого порыва прочь отсюда и скорее в Москву, что писать, т. е. делать буквы, становится почти невозможным. На днях я отправил тебе часть теплых вещей. Только что запаковывал остальные. Паковать было весело: как будто этим содействовал окончанию войны до снега и мороза. Сейчас у нас весна, я живу только весной, я упиваюсь ею. Наш дом стоит на высоком зеленом откосе. Под откосом расстилаются зеленые луга, прорезанные серо-синевой лентой прозрачной горной Андавы³⁸ в берегах из мелкого щебня. По берегам пушистый, на глаз и на ощупь, как головенки только что вылупившихся индюшат, молодой кустарник. За рекой влево серый костел Сарачан, а вправо небольшие вспаханные холмы, за которыми возвышаются туманно-синие горы далекого Татра³⁹. Утром и вечером в заливных лугах свирестят жабы, а в приречном кустарнике свистят и рокочут соловьи. Днем по лугу бродят наши пузатые, мохнатые, длинногривые сибирячки, а у реки лежат на животах солдаты и заунывно тянут «Одной бы я корочкой питалась». На том берегу вдоль Сарачанского шоссе беспрестанно тянутся питающие позицию обозы. Я очень много хожу по двору и у реки. Ты не можешь себе представить, какое для меня особое, весеннее счастье в том, что я могу уйти от всех и одиноко бродить. Как тяжело бывало подчас зимою от невозможности остаться одному.

Господи, сколько нежной прелести, сколько мира и любви в природе. Как хорошо здесь, верно, было прошлой весной, когда всюду свершалась мирная и благостная жизнь, когда за плугом брел «оратай», и ксендз каждый вечер выходил посидеть на крыльце своего дома.

А теперь всюду мерзость запустения. Всюду вокруг церкви и вокруг нашего дома окопы, заваленные всяким мусором, кровавой ватой и бинтами. О Господи. Господи, почему терпишь Ты такое заблуждение сынов Твоих?

У нас в батарее настроение сейчас невеселое. Чем дальше длится война, тем она все более и более теряет всякое сходство с чем-то, хотя и трагическим, но все же большим и важным. Пошли серые будни, местничество, ссоры и поголовное желание конца. Нервы у всех расшатались. Умения работать над собою, за двумя, тремя исключениями, нет решительно ни у кого, и потому все хмурятся, злятся, словом, заживо гниют на корню.

К жене.

2 мая 1915 года. Ветлин-на-Сане

Последнее время писать ничего не мог. Ни на день не прекращались какие-то совершенно безумные остервенелые бои. Я, слава Богу, жив, исполнен самого несокрушимого здоровья и вполне бодр. Причин на все это в сущности нет никаких.

Написать сейчас ничего не смогу. Пишу на батарее под несмолкаемый гром отбиваемых нами атак немецкой гвардии. Впереди, в Ветли-

не, все время загораются халупы. Крутом то и дело встают земляные фонтаны разрывающихся тяжелых.

В небе тоже гроза. Кажется, мы ее сами накликали нашей стрельбой.

Прощай. Слушай. Если обо мне не будет известий, не отчаивайся. Значит, все благополучно. Если что случится, тебя уведомят телеграммой, как бы это ни было трудно.

К жене.

16 мая 1915 года. Позиции на Любачувке

...Мне не рассказать тебе в этом письме всего того, что только сейчас начинает отстаиваться у меня в уме и на сердце.

В ночь с 20-го на 21 апреля случился неожиданный перелом в нашей жизни. О той войне, которую мы вели до 20 апреля, я теперь думаю и вспоминаю, как о самой мирной и уютной жизни. Все то тяжелое, о чем раньше писал тебе и маме, потеряло теперь в воспоминании всякую тяжесть. Все это было, оказывается, сплошным пикником, и войны во всем этом, как я теперь понимаю, вовсе не было.

Между тем все, что пришлось испытать нашей дивизии, которая отошла в полном порядке, было сущими пустяками по сравнению с тем, что выпало на долю нашей ближайшей соседки справа, 48-й дивизии.

Недели три мы были в непрерывных безумных боях. Пехота таяла, как восковая свеча среди костров ада. В таких условиях и наша артиллерийская работа становилась невероятно тяжелой. Мы занимали все время самые рискованные позиции. Все наблюдательные пункты были в самих пехотных окопах или впереди их. Все время мы имели дело с громадным количеством тяжелой и самой тяжелой артиллерии. Все время против нас были немцы (самым коренным образом отличающиеся от австрийцев). Все время бригада работала с громадным самоотвержением, и при всем этом, слава Богу, наши потери в сущности незначительны.

Устал я за период нашего отхода очень. В продолжение трех недель мы ни на секунду не только не раздевались, но даже не снимали сапог, спали не более 3-х, 4-х часов в сутки и были почти все время под угрозой самой реальной смертельной опасности.

Были минуты изумительных по величию и по мрачности своего настроения, минуты истинно апокалиптические. Я никогда не забуду одной из наших позиций, на которую мы отошли к вечеру после упорных, жестоких боев.

На этой позиции мы не стреляли, и усталый последней усталостью я заснул на голой земле. Когда я проснулся, было уже темно. Мы стояли на голом, круглом холме, как бы на небольшом срезе земного шара. Вытоптаные нивы и еще не осемененные пашни этого среза

были окрашены в какой-то совсем странный черно-лиловый цвет. Наш холм со всех сторон охватывался и теснился наступающими на нас кроваво-красными сводами неба. Кругом, как щепы и солома, громадными кострами пылали подожженные снарядами деревни. Огромные столбы черного дыма тяжелыми массивами вздымались к небесам. Резкий ветер внезапными порывами бросал на батарею запах гари, а между орудиями, кидаясь от одного солдата к другому, металась сумасшедшая женщина, которая с плачем и криком требовала от нас, чтобы мы не укрывали наших орудий за холмами, а выкатывали бы их открыто на самый гребень холма...

Это был ужасный вечер.

А сколько было таких вечеров! И сколько дней похожих на такие вечера!

На следующий день мы выехали на открытую позицию, выехали в то время, когда она уже обстреливалась ружейным огнем и притом разрывными пулями. Мы стреляли на прицеле 20, т. е. на расстоянии 400 сажень. Окопов никаких, конечно. Все мы, подавая пример, стояли во весь рост, не нагибая головы и не прячась за щит орудия, а кругом в продолжение 30 минут беспрестанно свистали пули, то щелкая в землю, то разрываясь в воздухе.

Я стоял, передавал команды, а в душе пела та совершенно незапоминающаяся мелодия, которая как-то раз в минуту острой опасности зародилась в моей душе и теперь каждый раз, когда близка возможность смерти, входит в меня и поет себя, и успокаивает меня, и дает силы все нести и всему покоряться. Когда эта мелодия приходит в меня и поет себя, я могу ей вторить и голосом, но когда опасности нет, она покидает меня, и я бессилён ее вспомнить.

Это очень странное явление, но совсем реальное. Быть может, эта мелодия есть ритмическая первооснова предвечной идеи моей жизни, моей любви?

К матери.

10 июня 1915 г. Куртенгоф под Ригой

Жизнь наша, полная превратностей, наконец-то повернулась к нам своею светлой стороной. После страшного отступления, которое безусловно войдет в историю как одна из наиболее трагических страниц в жизни русской армии, мы, наконец, попали если не прямо в Царствие небесное, то во всяком случае в ту простую обывательскую жизнь, которая по нашим временам с успехом может сойти за него.

Мы в глубоком тылу, в лагере под Ригой, чинимся и пополняем людьми, лошадьми и даже орудиями, которые все почти расстреляны и попорчены.

Кругом кипит знакомая со времен учебных сборов лагерная жизнь, с тою только разницей, что не производится никаких занятий и исчез-

ла дистанция между генералом, штаб-офицерами, штабс-капитанами и прапорщиками. После тяжелых недель галицийского отступления бригада окончательно слилась в одну родную семью и, предчувствуя кратковременность своего блаженства, живет легко и весело. К целому ряду офицеров приехали жены (Наташа тоже вот уже неделя как здесь). В офицерском собрании, наскоро задрапированном зеленым коленкором, по вечерам раздаются вальсы, крутятся пары, поет граммофон и подпевают подпоручики, звенят стаканы и хлопают пробки. В аллеях между «линейками» мелькают платья и в темноте позвякивают шпоры. А на террасах дач и лагерных «бараков» кипят самовары, тренькают гитары, звучат дуэты и звенит смех.

Днем в батарейных и полковых колясках, в казначейских бричках мягко катятся в Ригу поужинать и послушать музыку дамы и офицеры, и по всему лагерю на собранных лошадях на тихих аллюрах красуются артиллеристы и вихрем носятся ротные командиры и полковые врачи.

Вероятно, в другое время, если бы мне пришлось отбывать лагерный сбор здесь в Куртенгофе после зимы, проведенной в Москве, лагерная жизнь не предстала бы передо мной столь нарядною, как я тебе ее нарисовал. Но год, проведенный в глуши Галиции, изменил все масштабы и все критерии.

Хотел было написать тебе о нашем отступлении, но что-то очень не хочется его вспоминать: слишком оно полно всяких переживаний, страданий, проблем и, несмотря на всю условность моего патриотизма, тяжелого и острого стыда. Но обо всем этом я сейчас только знаю и помню, чувствовать же я всего этого решительно не чувствую. Очевидно, душа решила отдохнуть во что бы то ни стало, ибо я упорно и бессменно пребываю в самом безмятежном и веселом настроении. Я даже и Наташе еще ничего не рассказывал о войне, ибо уверен, что ее не было и не будет. Я не жаловался ей на свое одиночество, ибо мне не памятно, что я год провел без нее. Вообще я забыл мою тяжелую «быль», и я не верю, что сбудется то, что, вероятно, уже идет на меня.

Я думаю, что парусная лодка сразу бы утонула, если бы почувствовала всю бездонную глубину под собой. У меня на душе сейчас легкость белого крыла, и я не приемлю никакой глубины.

Р. S. Я перевелся в 3-ю батарею. Очень счастлив этим обстоятельством. Хмурый командир 4-й, принявший ее от временно командовавшего ею Ивана Дмитриевича, решительно изводил меня последнее время своим крутым, хотя и всегда корректным деспотизмом. Мы расстались дружественно и даже трогательно, но, кажется, оба рады, что расстались. В третьей у Ивана Владимировича с братьями Г-ми и доктором политической экономии Е-м мне будет бесконечно уютнее. Жаль только, что теперь мало придется видеть Вильзара, который, свято преданный четвертой батарее, остался, бедный, один страдать при К-ом.

К матери.

20 июня 1915 г. Куртенгоф близ Риги

На днях в Москву едет товарищ; хочу попытаться хотя бы несколькими словами рассказать тебе о днях нашего отступления.

Тяжело было и физически и, в первые дни по крайней мере, пока еще не очень уставали, нравственно. Ты представь себе только. 6 месяцев завоевывали мы Галицию, 6 месяцев брали грудью сопку за сопкой. 6 самых тяжелых осенних и зимних месяцев мокла и стыла наша пехота в воде и грязи, мерзла в глубоких снегах. Без снарядов и без пулеметов, руководимая зачастую бессовестным и безграмотным начальством, разрывая голыми руками немецкую колючку, уставляя холмы за холмами белыми крестами братских могил, продвигалась она каким-то чудом вперед да вперед, страстно мечтая, что сгинут, наконец, проклятые горы и расстелется перед глазами родная гладь, хотя бы и чуждой, хотя и венгерской равнины.

К середине апреля мы заняли прекрасные позиции на господствующих холмах Венгрии. Австрийцы барахтались где-то у нас под ногами. С наших наблюдательных пунктов мы заглядывали им в тыл на 5–6 верст. На душе у большинства солдат и офицеров было легко. Ничто не предвещало беды. Наши артиллерийские позиции устались чайными столиками. Каждый вечер раздавалась лихая, переливчатая гармоника. По приказанию высшего начальства наши второочередные полки завели на экономические суммы оркестры, которые частенько разыгрывали вальсы и марши в штабе дивизии, — и лишь крайне малое количество топоров и лопат нарушали эту весеннюю симфонию, изредка постукивая на заготовляемых на всякий случай тыловых позициях.

И вдруг среди ночи непонятный приказ отступить! Сначала решили, что какое-нибудь маленькое тактическое передвижение — однако к утру, когда покидали Свидник, вокруг которого зимовала дивизия, — уже сердцем и предчувствием знали, что события разрастутся с невероятной быстротой в грандиозное поражение русской армии.

Так оно и вышло.

В 6 дней мы отдали все, что завоевывали 6 месяцев. Нельзя сказать, чтобы мы позорно бежали. Нет, мы дрались, и временами, как, например, на Сане, дрались героически, но враг был настолько сильнее, его материальные средства были так сокрушительны, что мы все же не просто отступали, но бежали с невероятной быстротой, очищая в иные сутки до 60–75 верст.

Мы бежали сквозь крошечный ад. Вокруг нас все время пылали громадные костры поджигаемых и нами, и немецкими снарядами городов и селений. Разрывы тяжелых непрерывно скидывали к небу сотни пудов черной земли, издали казалось, что всюду плещутся грандиозные нефтяные фонтаны. Пехота гибла без счета; много людей

выбывало убитыми и ранеными, но гораздо значительнее были потери отстававшими, сдававшимися в плен, забивавшимися в халупы и утонувшими при переходах через реки. Когда мы уже отдали Сан, к нам начало поступать пополнение. Но было уже слишком поздно. Маршевые роты, скверно обученные, сразу же, как мясо в котлетную машинку, попадали в атаку, и гибли — без счета, без смысла и без пользы.

В самом начале этих тяжелых дней рядом с нами была разбита 48-я корниловская дивизия, защищавшаяся, говорят, с последнею отчаянностью и истинным героизмом. Во время одного из наших переходов прямо на нас сбоку из лесу выскочило несколько ездových: перерубив построшки, они, очевидно, каким-то чудом спаслись из того горного ущелья, в котором немцы окружили и наголову разбили злосчастного Корнилова. Среди ездových было два офицера, оба на неоседланных лошадях. Солдаты как угорелые проскакали мимо и скоро скрылись из вида; офицеры присоединились к нашей батарее. Я долго ехал рядом с ними. Они производили впечатление почти ненормальных людей. На первом плане в них чувствовалось ликующее «вырвались», и одна мечта «соснуть бы»; на втором кошмарное воспоминанье, очевидно, уже не боя, а бойни, и острый стыд за свою счастливую участь. Зато на болтливом языке все время вертелась какая-то сплошная истерическая ерунда. «Нет, ведь главное то, что все вещи пропали. А какой коньячишка: три звезды, первый сорт; а письма, письма... где ты, Маня, где ты, Таня... ай да тройка, снег пушистый... Ну, да все — все равно, важно дрыхнуть, да покрепче, суток на пять закатиться, а потом можно хоть опять на немца, хоть под суд...» Я ехал, и мне вспоминалась другая сцена... Вспоминалась взятая нами в плен во время отступления партия немецких разведчиков с офицером во главе. Строгие, сосредоточенные и спокойные немцы, все с железными крестами, сидели на пнях у штаба полка. На мои вопросы они отвечали односложными «да» и «нет», впрочем, я не очень расспрашивал их; моему праздному любопытству они решительно противопоставляли свою глубокую скорбь. При этом ни на одном лице не дрожал ни один мускул. Казалось, что у этих людей есть души, но нет нервов, и вспомнились слова Гинденбурга о том, что победит тот, кто крепче нервами.

Пережили мы один вечер, который тоже был ставкой на крепкие нервы. Получили мы к ночи приказ занять еле маскированную позицию под Яблоницей польской. Часам к 11-ти мы встали за небольшими бугорками, наскоро вырыли кое-какие окопы и только что собрались отдохнуть, так как к раннему утру ожидалось преследующие нас немцы с непременными тяжелыми орудиями в авангарде, как на фоне темного неба, на левом фланге батареи показался черный силуэт странного всадника в широкополой шляпе. Оказалось, что к нам в первый раз за все

время войны с чего-то решил пожаловать батюшка одного из полков нашей дивизии. Собрав людей, он произнес речь, в которой сообщил, что по полученным в штабе сведениям бой будет к утру тяжелый и что нет надежды, чтобы многие из нас остались живы. Сообщив затем, что он только обошел окопы своего полка и что мы, батарейцы, для него не пасынки, но наравне со стрелками любимые чада, — он и нам предложил поисповедоваться и принять отпущение грехов...

Когда батя уехал, наше настроение сильно ухудшилось: это был первый случай коллективного соборования. Утра мы невольно ждали с суеверным страхом. Умываясь, наш новый офицер, храбрец и атеист, по прозванию Арапчонок, костил батюшку на чем свет стоит. Обошлось однако вполне благополучно. Хотя немец стрелял с наблюдателем летчиком и хотя висевший над нами аэроплан все время сигнализировал цветными зигзагами, немецкие тяжелые упорно ложились или правее батареи, или на ее правом фланге. Так что мы все время, неустанно стреляя двумя левыми взводами, не понесли никаких потерь.

А бой был под Яблоницей действительно жаркий. Иван Владимирович рассказывал мне потом, что картина, раскрывшаяся перед ним к рассвету с его прекрасного наблюдательного пункта, была истинно монументальной картиной современного боя. Немцы двигались как саранча, двигались лавинами, двигались каким-то бескрайним человеческим океаном. Впереди цепи одна за другой; за цепями в подкрепление им плотные колонны; под прикрытием тяжелых орудий во все стороны разъезжалась и по всем позициям устанавливалась разнообразная легкая и гаубичная артиллерия, к флангам скакала кавалерия; совсем в глубоком тылу продвигались обозы; в воздухе кружили и висели аэропланы.

А у нас — у нас решительно не было никакой возможности бороться со всею этою сокрушающею массой людей, пушек и изоощренных технических средств, со всею этою подавляющею отчетливостью немецкой военной организации, с яростью германского натиска.

Не располагая ни воздушной разведкой, ни тяжелой артиллерией, с пехотой, растаявшей до четверти нормального состава дивизии, мы немощно посыпали немецкую мощь «сахарною пудрою» наших трехдюймовых снарядов, зная и чувствуя, что все зря, что все усилия тщетны, что дело безнадежно проиграно.

К матери.

27 июня 1915 г. Куртенгоф близ Риги

Дни нашего отдыха, очевидно, близятся к концу. В пехоту прибыло все предназначенное для нашей дивизии пополнение, молодое, рослое, но мало обученное. Бригада получила новые пушки взамен расстрелянных. Причем не обошлось без характерных для нашего военного ведомства курьезов. Третья батарея получила пушку, сданную

за негодностью первой. Конечно, она выкрашена и внешне подновлена, но самое важное для стрельбы — дуло орудия оставлено старое. Прибыл также и конский ремонт. 3-я батарея, всегда отличавшаяся хорошим конским составом, будет теперь запряжена прямо-таки нарядно.

На днях у нас состоялся парад. На большом зеленом плацу, обрамленном молодым лесом, в глубине которого весело белели солдатские палатки, под высоким, чистым, темно-голубым небом, выстроилось многотысячное каре нашей дивизии. Возле памятника Петру I жарко горели на ярком солнце медные трубы полковых оркестров. На зятянутых кумачом щитах торжественно красовались золотые и серебряные георгиевские кресты, предназначенные к раздаче героям галицийских дней. У щитов расположилась группа начальства в полной походной форме и боевых орденах. Ровно в 10 у церковной паперти с хоругвями и иконами, в ярко-зеленом облачении появилось духовенство и, перейдя весь плац, подошло к группе начальства. Начался молебен. После обхода батюшкой с крестом первой шеренги всего каре начальник дивизии созвал к себе офицеров и солдат, представленных к Георгию и, раздав кресты, из которых громадное большинство, за смертью представленных к ним, осталось на груди красных щитов, обратился к дивизии с речью. Он долго, с многократными упоминаниями отдельных боев, говорил о галицийском наступлении и, твердо веруя в своем начальническом номинализме, что полк это прежде всего тожество литеры, очевидно не замечал, что беседует не только о покойниках, но почти исключительно с покойниками, так как для 14 тысяч окружавших его новобранцев его слова, естественно, звучали пустыми звуками. Горьким, реалистическим коррективом к его речи было красноречивое молчание нерозданных крестов на ярком кумаче. После речи грянула музыка, парадным маршем двинулась пехота, батальон за батальоном. Нарядно, на отдохнувших лошадях развернулась артиллерия, батарея за батареей. Веяли знамена, катилось «рады стараться», гремело «ура», снова и снова звенели трубы, — и от всего этого было и телу и душе звонко и весело, хотя все это явно означало, что все готово, — готово снова калечиться и умирать. Наташа потом говорила мне, что более трагического впечатления, чем от нашего парада, она никогда ни от чего не получала и что, когда мы с Г-м впереди наших взводов проезжали мимо нее перед начальником дивизии, салютируя обнаженными шашками, она испытывала смертельную тоску.

Иной раз мне думается, что переживать войну на фронте много легче, чем переживать ее в тылу. В своей сердцевине она все же таит много значительного и увлекательного, а со стороны она, вероятно, сплошной кошмар.

Скоро уже три недели, как мы отдыхаем. Иногда мне страшно жалко, что ты не приехала сюда. Какая была бы бесконечная радость свиданья. Хотя боюсь, что при твоём душевном складе тебе все было бы

отравлено тем, что каждую минуту возможен приказ о немедленном выступлении, о немедленной разлуке.

Когда и куда мы двинемся, еще совершенно неизвестно, и неизвестно потому, что это в последнем счете зависит от «германа», в руках которого, что ни говори, все же все время остается инициатива действия.

К жене.

11 июля 1915 г. Позиция под Митавой

...Ты еще не успела сесть в поезд Петербург — Москва, как наша батарея уже стала на позицию. Ночь, которою поезд нес тебя в милую Москву, я так же не спал, как и ты. Кругом нас царствовал густой мрак совершенно невыясненной еще боевой обстановки. Ночь была еще темнее и непонятнее этого мрака. Дождь лил как из ведра.

Почти всю ночь я просидел на позиции, лишь дважды забежав погреться в какую-то дворницкую близ шумевшего парка, где среди груды всякого хлама и полного хаоса наши денщики готовили чай...

В ранний дождливый утренний час бедный Валериан Иванович, быть может, сброшенный подраненной лошадью, быть может, раненый сам, а быть может, уже и убитый, упал с какими-то неясными словами с лошади и попал в немецкий плен, который его бесконечно нежной, русской душе будет тяжел, как крышка гроба.

А в час, когда ты подъезжала к дому, начался страшный обстрел нашей батареи. В несколько минут было убито четверо и ранено шесть человек. Пострадало восемь лошадей, между ними мой Суровый, раненный двумя шрапнельными пулями в шею и грудь (кажется, он выходится).

Уже много я видел тяжкого, но этот первый после куртенгофского отдыха бой превзошел все мои ожидания, весь мой боевой опыт.

Снаряд гаубицы попал прямо в орудие, разорвал и искурчавил наш тяжелый, стальной щит. Он же ударил в лоток со снарядами, и две шрапнели вылетели из своих гильз. Своими двумя осколками он сразу насмерть убил двух лучших людей при орудии — фейерверкера и наводчика.

Страшный и противоположный вид имели оба покойника. Один был убит в окопе. Его труп стоял на одном колене, и слегка окровавленный лоб, тяжело задумавшись, покоился на кисти правой руки. Левая рука беспомощно свисала книзу. Вся фигура была исполнена сосредоточенной напряженности и благородного покоя.

Совсем иначе лежал его товарищ. Ничего более кошунственного мне не доводилось видеть. Он лежал грудью кверху, в талии же был как-то вывернут, так что нижняя часть туловища лежала на бедре. Ноги были страшно раскинуты, как будто он в момент окоченения выделял какое-то отчаянное «па» казачка. Ступни стояли перпендикулярно к земле, зарывшись в нее скрюченными носками. У левого

плеча лежал смуглый подбородок с клочком черной бороды. Направо лоб с чубом волос. Лица не было: вместо него какие-то кровавые сгустки в луже крови.

Еще тяжелее этого покойника был вид умиравшего тут же тяжело раненного солдата. Его кишки лежали рядом с ним на траве, и он молил, чтобы его «прирезали»...

А обстрел все продолжался, и сами мы должны были все далее заряжать и стрелять.

Не поверишь, как было душевно трудно требовать от солдат, чтобы они убирали и выносили раненых и снова заряжали орудия, дабы стреляя, все более и более навлекать на себя огонь пристрелявшегося противника...

После этого кошмарного дня были еще дня три страшного напряжения.

Теперь все как будто успокоилось. Вот уже третий день, как мы стоим на одной и той же позиции. Пушки молчат, и на душе спокойно. Страдаю лишь от одного: беспрестанно, безумно хочу спать. Вот сейчас еще только 10 часов, а меня так тянет на постель, что, кажется, сейчас пойду и лягу. Не знаю, что это такое со мной случилось.

Знаешь, я очень устал за это время. Мне кажется, это оттого, что не было никакого перехода от Куртенгофа к месту нашей высадки. Я уже привык быть под обстрелом и во всякой опасности, но на этот раз я попал под обстрел внутренне недостаточно подготовленным, я хочу сказать, недостаточно опустошенным.

К жене.

18 июля 1915 года. Позиция под Митавой

Все время думаю о несчастном Валериане Ивановиче. Погиб он или в плену? Раньше, чем недель через 6, это не выяснится. Боже, какой ужас, какое сплошное нелепое недоразумение, все это дело под Альт-Ауцем.

Ты помнишь, как нас везли на Белосток для ликвидации немецкого прорыва на западном фронте. Помнишь, как 3-я батарея со станции Царьград была возвращена и как мы все с недоумением обсуждали приказание железнодорожному начальству возвращать все эшелоны нашей бригады, притом возвращать каждый с той станции, на которой его застанет приказ. Получалась очевидная нелепость. Идя в бой, мы вели в хвосте парки, лазареты и обозы. Меняя направление наступления, мы явно бросали на немцев, в первую очередь, лазареты, парки, обозы, оставляя в резерве полки и батареи.

Результатом этого дикого порядка и было все то несчастье, о котором уже сообщал тебе в моем последнем письме.

Посадив тебя в поезд в Риге, я поздно ночью в эшелоне 5-й батареи, которая должна была выгрузиться на станции Беннен, пустился дого-

нять своих. Узнав в Беннене, что 3-я батарея прошла вперед по шоссе к Альт-Ауцу, я немедленно двинулся ей вслед.

Мне навстречу по шоссе текла непрерывная река курляндских беженцев. Густо, голова к голове, шел прекрасный племенной скот. Среди него, тяжело нагруженные всяким добром с трудом продвигались крестьянские телеги и помещичьи экипажи. В нарядных пополах, встревоженные суетой и шумом, выступали породистые кони баронских конюшен. Непрестанно блеяли всюду тыкавшиеся овцы, хрюкали и взвизгивали свиньи. Высоко на каком-то возу тряслась клетка с попугаями, и рядом с нею зингеровская машинка. По обеим сторонам шоссе непрерывными широкими потоками двигались пешком, верхом и на велосипедах, таща малых ребят на себе и в колясках, испуганные, измученные и озлобленные люди, латыши и немцы, богатые и бедные, крестьяне и бароны.

На полдороге между Бенненом и Ауцем я увидел высланного мне навстречу моего вестового; пересел на свою лошадь и часа через полтора подъезжал уже к нашей позиции. Миновав парк, я сразу же в нескольких шагах от дороги увидел Ивана Владимировича и Женю Г-го перед трубой Цейсса. Было часов 10 вечера, моросил осенний дождь, было очень холодно. Спрыгнув с лошади, я подошел к ним.

— В чем дело, Иван Владимирович?

— Стреляю.

— Куда?

— Туда, — махнул он рукой в направлении на запад.

— А там кто есть?

— Неизвестно!

— А зачем стреляете?

— Приказано!

— А с этого наблюдательного пункта что-нибудь видно?

— Ни черта!

— А при чем же тогда труба?

— Да где же я вам ночью наблюдательный найду?

— Ничего не понимаю!

— И нечего понимать. — Самый обыкновенный кабак.

— А где наша батарея, Иван Владимирович?

— Через шоссе, за бугром.

Я пошел на батарею.

У телефонного окопа в одном брезенте уныло мерз Владимир Г-ий и с чувством творящейся нелепости передавал на батарею команды. Его отношение к происходящему было столь же скептическим, как и у Ивана Владимировича.

В распоряжении штаба дивизии была всего только одна наша батарея и один батальон пехоты. Остальные боевые части подтягивались и ожидалась только к утру. Дозор был набран из лазаретных служите-

лей, с ними были высланы полковые врачи. Кроме нашего батальона, где-то поблизости были расположены дружинники «крестоносцы» и один эскадрон драгун.

При этом в штабе дивизии упорное утверждение, что мы расположили наши силы лицом к немцу, а у Ивана Владимировича столь же упорное убеждение, что немцы заходят нам во фланг и тыл и что из лесу, что тянется на протяжении фронта батареи, немцы к утру начнут нас обстреливать ружейным огнем. Заглянувший к нам на батарею ротмистр вполне разделял все соображения Ивана Владимировича и был определенно озабочен только тем, как бы под благовидным предлогом загодя увести свой эскадрон. Он не без юмора хвалил занятую нами позицию, как близкую к шоссе, потому очень удобную на случай неизбежного «драпа».

Наступила дождливая, холодная ночь. Несколько раз к нам прибежали дружинники и спрашивали, не думаем ли мы «переставить пушки». Они, очевидно, волновались, хотя и держали себя молодцами.

Наступило серое, туманное утро. Мы все вместе стояли на батарее. Иван Владимирович собирался на наблюдательный пункт. В это время по шоссе, отделявшему нашу позицию от наблюдательного, в направлении того леса, в котором мы предполагали немца, потянулась подошедшая за ночь шестая батарея.

Иван Владимирович посмотрел и, потирая руки, убежденно изрек: «Ну, это прямо к немцам в лапы. Меня уж вчера хотели вляпать в эту грязную историю, да не вышло, не на таковского напали».

Затем он ушел. Около часа, вероятно, ходили мы с Г-ми по позиции, — все оставалось безмятежным и тихим.

Вдруг в тревожившем нас все время лесу вспыхнула перестрелка. Потом стала разгораться и через несколько минут усилилась пулеметною трескотней. Минуту спустя из-за того же леса взвился свист шрапнели, и шестидюймовый снаряд, широко прошумев над батареей, разорвался где-то у нас за спиной.

Вскоре и Иван Владимирович открыл огонь. В дальнейшем все события сливаются в моем представлении в какой-то сплошной хаос. Начинается тот тяжелый, меткий обстрел батареи, о котором я уже писал тебе. Неустанно налетающие на батарею шумы и свисты. Секунды ожидания разрывов, секунды затишья. То мы у орудий, то мгновенно ныряем в окопы. Г-ий блистательно храбр, батарея работает превосходно, несмотря на то, что уже несколько людей убито и много ранено...

В это время по телефону поступает известие, что вся шестая батарея попала в плен. Через несколько минут оно подтверждается одним из немногих ускокавших от немцев разведчиков.

Затем у нас на батарее капитан N полка, который с батальоном направляется выручать батарею. Рядом с ним почему-то офицер генераль-

ного штаба, который накануне вечером утверждал в штабе дивизии, что он сам лично прошел весь лес и что в нем безусловно нет немцев.

А обстрел батареи все продолжается, и оставаться на позиции становится совершенно невозможным.

Г-ий предложил мне потому поехать поискать поблизости какую-нибудь другую позицию. Когда мне подавали моего Сурового, его ранило. Пришлось переседловать. Когда я сядился на другого коня, фейерверкеру, стоявшему рядом со мной, перебило правую руку; он левою отдал мне честь и сказал: «Ваше благородие, разрешите покинуть строй». Я разрешил (!) и двинул лошадь. Минут через 20 я вернулся, и мы решили с Владимиром Александровичем перебираться на новую позицию. По точности попадания снарядов было ясно, что противник нас видит. Выезжать передкам на позицию было потому невозможно. Приказав не выводить лошадей из Медемского парка, мы стали на руках скатывать орудия к его опушке. Немец все время продолжал бить по нас. Однако нам удалось взяться в передки и на рысях двинуться к новой позиции. По пути у нас все же разбило щит и колесо еще одного орудия.

Только что мы собрались разбивать новый фронт, как к нам подошел Иван Владимирович и Женя Г-ий, выгнанные с наблюдательного пункта яростным огнем.

Как всегда спокойный, Иван Владимирович решительно не знал, что предпринять. Да и трудно было на что-нибудь решиться, так как картина боя была совершенно не ясна, приказаний ниоткуда не поступало и связи решительно ни с кем не было. Я предложил проехать к начальнику отряда полковнику Л. Иван Владимирович согласился, и я поехал с разведчиком к штабу полка. Навстречу нам очень скоро засвистали пули. Я недоумевал, но скакал. В нескольких саженях от реденького перелеска, в котором находился штаб полка, свист и щелканье пуль усилился до невероятности. В эту минуту за небольшим деревом я увидел стрелка. Мой разведчик громко спросил его, где полковник. Перепуганный стрелок приложил палец к губам и молча указал рукою по направлению в тыл. Я оглянулся и совсем уже вдаль, верстах в двух от нас, увидел отходящего со своим штабом полковника в сопровождении конных разведчиков и казацкого конвоя. Быстро нагнав его, я доложил о перемене нашей позиции и просил от имени командира батареи инструкций для дальнейших действий. Ответ его был неожиданно откровенен: «Какие тут инструкции, делайте, что хотите, если вы что-нибудь понимаете; я ничего не понимаю и ничего делать не буду».

Когда я подъезжал к батарее, Иван Владимирович уже брался в передки и собирался «драпать».

Через полчаса весь наш маленький злосчастный отряд, потерявши за одно утро около полутора тысяч человек, отходил по направлению

к Митаве. Немец не преследовал ни одним выстрелом. У него, очевидно, не было никаких сил, и мы отступали, позорно разбитые своею собственною глупостью и беспечностью...

Ну, пока кончаю. Нам с Владимиром Александровичем уже подали экипаж, запряженный тою же парюю серых, на которых мы с тобою еще так недавно катались под Куртенгофом. Мы проедем с ним в Митаву — очень своеобразный тихий городок, выпьем кофе в тихом кафе, купим самовар для батареи и, собственноручно опустив письма в почтовый вагон, вернемся к вечеру обратно. Как я счастлив, что я в третьей батарее. Такая поездка для меня громадное наслаждение. А возможна она лишь в атмосфере той исключительной свободы, которую Иван Владимирович гостеприимно предоставляет своим офицерам. Какой ужас был бы сейчас сидеть у К. в четвертой и заниматься хозяйством или писать денежный журнал.

К жене.

5 августа 1915 года. Лесничество «Буле Муйжа»

Много тяжелого, много грустного дарит нам жизнь за последнее время. Ожесточилась судьба, и лицо войны становится с каждым днем все суровее и непроницаемее. В прошлом письме я сообщал тебе о наших тяжелых потерях. После небольшого периода, о котором телеграфировал тебе: «Живу уютно», на нашу долю снова выпали очень тяжелые дни.

24-го, в четыре часа утра началось наше наступление. Помнишь ли ты Вархаловского? Кажется, ты его мимолетно видела в Куртенгофе: маленький, коренастый, крайне молчаливый и медленный в своих движениях, с детски упрямым затылком, с ясными детскими глазами, с прекрасным детским смехом, внезапным и светлым, и с совершенно неожиданными при всем этом громадными, жандармскими, рыжими усами, приклеенными у него под носом, как я не сразу понял, лишь затем, чтобы играть со своими детьми «в бибику». Он крепко любил свою семью, свою жену, свою далекую Читу, в которой тихо и счастливо жил инспектором и преподавателем какого-то землемерного училища.

Двадцатого июля, возвращаясь из отпуска, он, успокоенный и просветленный, тихо въехал на своем красивом Асмани в ворота того лесничества, из которого мы 23-го повели наступление. Два дня он тихо прожил среди нас и, раньше мало мне понятный, да и мало приятный, как-то сразу приблизился и понравился очень.

В день наступления, рано утром, командир дивизиона потребовал от каждой батареи по одному офицеру в передовую разведку. Последний раз ездил я, очередь была за Вархаловским, и Владимир Иванович предложил ему поехать. Он спокойно сказал: «слушаюсь», потом «лошадь», взял у меня мою карту и маленькою рысцою поехал вперед по шоссе.

Прошло три часа. Авангард вел легкий бой, — главные силы еще не развертывались, командир был уже впереди, а мы с Г-м стояли около батареи, которая в ожидании вызова на позицию расположилась в лесу. День был синий и жаркий, лес был смоляной и благоуханный. Немец, очевидно, планомерно отступал, впереди лишь изредка слышались разрывы гаубиц. Настроение у нас было довольно спокойное. Ничто не предвещало беды. Вдруг прискакал разведчик с криком «скорее санитарную двуколку и носилки, одним снарядом четырех офицеров ранило». Г-й поскакал за автомобилем, а я остался при батарее.

Прошло с полчаса или больше: среди редящих на опушке сосновых стволов показались колышавшиеся на солдатских плечах громадные холстяные носилки. Я пошел им навстречу и увидел, что головою вперед несут несчастного Вархаловского. Верный себе, он закрыл свое лицо новою, только что купленною в отпуску фуражкой; уже как у покойника бледная рука придерживала край фуражки, ревниво блюдя тайну нечеловеческих страданий, которые он должен был испытывать. Невольно ища раны, я увидел, что колена Вархаловского и холст под ними буквально залиты кровью. Я ничего не смог сказать, ничего не осмелился спросить и велел нести скорее и осторожнее к автомобилю. Носилки всколыхнулись и тронулись в глубину леса. Я посмотрел им вслед. Ступни бедного Зиновия Войцеховича с невероятно жестокой выразительностью лежали в полном несоответствии с поворотом всего его тела. Я понял, что у злосчастного раздроблены обе ноги.

До Риги санитарный автомобиль его не домчал, он умер от потери крови.

За Вархаловским на руках пронесли очевидно легко раненного командира дивизиона соседней бригады, с которым мы работали с самого Куртенгофа, милого человека с бесконечно грустными глазами, очень красивыми аристократическими руками и несколько вычурною внешностью, Густава Адольфа. Его появление живо напомнило Ивану Владимировичу и другим строчки Пушкина: «В качалке бледен, недвижим, страдая раной, Карл явился...»⁴⁰, которые, как это ни странно, кто-то тут же продекламировал.

Старый и добросовестный служака, он, и раненый, сделал замечание ездovým, зачем они отошли от лошадей.

Тою же дорогою, что пронесли к перевязочному пункту Вархаловского, пронесли и полковника. С темной тяжестью в душе ходил я мимо запряжек и ждал, и думал, кто же будет третий?

Минут через десять, подпрыгивая по корням и кочкам лесной тропки и раскачивая свой белый балдахин, показалась санитарная двуколка (поистине орудие пытки для раненых). Когда она поравнялась со мною, меня по фамилии окликнул какой-то давно знакомый

мне голос. Я подошел: почерневший от боли на свежем сене, с крайне оживленным и улыбающимся лицом, лежал Коля К., с которым я долгий ряд школьных лет просидел на одной скамье.

В отличие от бесконечно выдержанного, не проронившего ни одного слова Вархаловского, он был истерически оживлен и, поверишь ли, духовно кокетничал и утешал себя своим «присутствием духа». В минуту ранения Вархаловский не издал ни звука, а Коля, говорят, ужасно кричал. С изумительным спокойствием описал он мне, как и где его ранило, сказал, что у него было предчувствие сегодняшней катастрофы, пожелал мне «лучшей участи», расспросил подробно дорогу к ближайшему перевязочному пункту, отказался от предложения донести его на носилках, говоря, что и «их (т. е. солдат) тоже ведь не на носилках носят», затем прибавил: «Христос с тобою, Николай Федорович» и двинул двуколку. По пути ему встретился Г-ий. Он громко поздоровался с ним, крикнув: «Привет георгиевскому кавалеру». После этого напряжения ложная сила честолюбивого духа оставила его, и он снова начал ужасно кричать.

Да, не думали мы с ним, сидя на уроке математики, о том, как мы увидимся в последний раз...

Он уже умер от заражения крови. Его красивое породистое, сухое лицо уже вторую неделю гниет в дешевом гробу.

Это письмо я пишу ужасно медленно. Начал его часа два тому назад, но сейчас же меня оторвали: пришлось стрелять. Пострелял, сел писать — взяли наш единственный стол — чай пить. За чаем снова пришло приказание открыть огонь — снова я кричал команды, снова оглушительно ревели пушки, и снова соблазненный нашими выстрелами «немец» старался «нащупать» нас. Батареи он не нашел, но зато зажег наш наблюдательный пункт, выкурив оттуда наблюдателей, да сильно засыпал пулями и горячими осколками пехотные окопы, наскоро вырытые и совершенно никого и ни от чего не защищающие ямки. Непонятно, почему так зря идут на свою погибель русские люди: минутами кажется, что это глупая лень, минутами — что это великая покорность обреченных.

Вчера ночью мы не спали. Готовилось наступление, которое мы с 9 часов вечера начали готовить нашим огнем. Нервы были слегка напряжены; чувствовалось и виделось, что когда станет темно и догорит подожженная нашими гранатами занятая немцами мыза, то «обреченные» 3-й и 7-й роты пойдут под неприятельские ружья и пулеметы, чтобы за чем-то (зачем, никто из получивших приказания не понял) занять эту мызу и оставить по пути к ней десятки раненых и убитых.

В эту ночь у Ивана Владимировича отчаянно болели зубы. Он не вставал с постели и на меня легла неприятная обязанность всех ночных переговоров с начальством. Дабы не бегать ежеминутно из своего

окопа к окопу телефонистов, я поставил свою койку рядом с телефоном прямо в лесу и прилег на нее одетым.

Сквозь жидкие макушки сосновых мачт мерцали тихие, неяркие звезды Большой Медведицы. Я лежал и думал о Москве, о том, что уже давно не было мне писем. Вдруг среди темной ночи совсем близко от моей постели раздалось конское ржание, показалось мутное пятно светлой лошади, послышался знакомый голос Е...ча (он был в отпуску): «Земляки, где тут позиция третьей батареей?» — «Здесь, Александр Борисович!» — радостно отвечали ему, предчувствуя в его кармане запоздавшие письма.

Быстро зажгли мы маленькую лампочку, разложили костер, повесили над ним чайник, стали поить, кормить Е...ча, а он стал рыться в своем багаже, и так ожидаемо и так неожиданно выпорхнули у него из-под рук два белых, дорогих, привычных конверта, — мамин и твой...

Началась сильная перестрелка. Боюсь, что этой ночью немец ответит нам наступлением за наступление. Пока кончаю.

К жене.

14 октября 1915 г. Лесничество «Бли»

Газеты оповестили тебя о наших событиях. Я не писал, так как совершенно не было своего угла. Теперь стало иначе. Пять дней мы потратили на постройку окопа-дачи и вчера переселились. У нас очень хорошо. Полуподземное жилище состоит из пяти комнат. Одна «кают-компания» и четыре маленьких комнатки вокруг. Пока братья Г-ие в отпуску, я блаженствую, живя один в большой комнате.

Мой «письменный» стол стоит у большого окна без переплета. На стене против стола висит наша акварель. По мою левую руку хорошая крашеная полка с книгами, а за спиной кровать, розовая, у зеленой стены; на стене висит оливковое одеяло. В углу старые, привычные галицийские теплые вещи: полушубок, валенки, кожаная куртка, у левой пуговицы которой висело красное пасхальное яичко.

Я смотрю в окно — за окном стоит старый строевой лес, слегка оснеженный; снег и сейчас падает медленными хлопьями.

Есть в первом снеге что-то совсем особое. Третьего дня в половине девятого утра я выехал в экипаже в Ригу. Не знаю, смогу ли тебе передать, какое это было громадное удовольствие.

Было совсем тепло и солнечно; в ранней зиме чувствовалась ранняя весна. Снег шел большими, пушистыми хлопьями. Первые, ниспадая на землю, вспыхивали на солнце золотыми искрами, — затем таяли. Но небо все продолжало усыпать землю белыми звездами, и, наконец, старые ели, меж которых долго вела меня далекая дорога, стали сереть, туманиться и серебриться. Весь мир заметно притаился и затих. Все

предметы вошли в какую-то свою раковину: все они потеряли свою форму и тем самым схоронили свою душу.

Медленно на мягких рессорах катилась моя коляска. Медленно и тоже бесформенно думались в сердце какие-то длинные думы, и душе тоже так хотелось куда-нибудь спрятаться, так хотелось приветного осенения нежным, белым крылом.

А в глазах все рябил да рябил ниспадающий снег. «Все течет, все проходит», вспоминался мне Гераклит; с ним вместе вспоминался Фрейбург, «Логос», Мелис, Кронер⁴¹ и наш прекрасный юный энтузиазм дружбы и философии.

Где же вся эта молодая, святая красота! Как быстро, как ужасно быстро во зле состарился мир. Какой страшный памятник этому злу и этой старости такая злосчастная, такая преждевременная смерть, быть может, гениального Ласка⁴².

Как грустно мне было ехать, Наташа, и все же какое было наслаждение быть одному с «отходящей» природой и со своими скорбными мыслями и воспоминаниями.

14 октября, 8 ч. вечера

Утром раздумался и перестал писать. Читал «Воскресение» Толстого. Изумительно, до чего сильна эта вещь и до чего слаба. Сильно все, кроме Неклюдова, но он портит решительно все. Это не человек, а краткий конспект истории развития взглядов Толстого на суд, общество и земельную собственность. Перечел больше половины романа и все еще не вижу Неклюдова. Долго не мог понять: в чем дело. Потеряй Толстой, благодаря своей нравственно-теоретической заинтересованности, дар искусства вообще, я понял бы неудачу Неклюдова. Но ведь сказать нельзя: все петербургское общество, весь чиновничий высший свет нарисован так, как умеет рисовать только Толстой. Почему же генерал немецкого происхождения с беленьким крестиком не утратил ни одной йоты своей эстетической реальности от того, что Толстой создавал его при участии своей нравственно-общественной точки зрения и явно осветил его откровенным светом тенденции, а Неклюдова та же тенденция решительно превратила в силуэт и тень?

Мне кажется, что неправда образа Неклюдова не в том, что он написан тенденциозно, а в том, что образ его ложен в своей этической структуре.

Ко времени написания «Воскресения», тенденция, т. е. эстетическая ложь, была для Толстого его большой, внутренней правдой, а потому она в общем и не испортила эстетической правды романа.

В Неклюдове же чувствуется ложь в той области жизни и мысли, в которой ложь для Толстого никак не перерождается в иную, своеобразную правду — в области этической.

Катюша прекрасно видит основную безнравственность Неклюдова, которая, очевидно, заключается в том, что воспользовавшись ею сначала для своего физического наслаждения, он ею пользуется и дальше для своего нравственного спасения.

Толстой эту ложь лишь как будто видит, полного же понимания того, что Неклюдову не должно жениться на Катюше и не должно следовать за ней, у него нет.

Толстой совершенно не замечает, что Неклюдову решительно нет никакого дела до Катюши, а есть дело лишь до своего отношения к ней, а потому всякое нравственно вполне правильное сомнение Неклюдова в том, стоит ли ему жениться на Масловой и ехать с ней в Сибирь, сразу же заподозривается в эгоистическом своекорыстии.

Пойми Толстой безнравственность неклюдовского отношения к Катюше (т. е. того отношения, которое Неклюдов от себя требует к ней), он должен был бы поставить Неклюдова в глубоко трагическое, безвыходное положение. В этой безвыходности он и нашел бы живую ось личности и жизни Неклюдова.

Но Толстой этой безвыходности умершей любви не видит и, указывая Неклюдову нравственно правильный выход из его безвыходного положения, заменяет живого человека мертвой прописью.

Я хочу сказать, что Неклюдов не живое лицо не потому, что он написан тенденциозно, а потому, что этическая тенденция Неклюдова безнравственна.

Впрочем, я прочел еще только половину «Воскресения». Когда кончу, напишу, какое мое окончательное впечатление.

Я совершенно не намеревался писать о «Воскресении», это вышло как-то мимовольно. Я решил писать меньше, но чаще, потому заклеиваю это письмо, дабы оно не задержалось, и отправляю его в резерв, а завтра буду писать новое.

К жене.

16 октября

Вот уже минут тридцать, как я сижу у своего письменного стола. Смотрю из окна окопа на ели и снег, хочу писать и не пишу, пытаюсь читать и не читаю. На душе и очень хорошо, и очень грустно. Хорошо потому, что я сижу один в отдельной комнате, потому что немцы не стреляют, хорошо потому, что сегодня воскресенье и светлый, синий, снежный день. А грустно и очень грустно потому, что память знает такие же светлые, синие, снежные дни и в пору раннего моего детства, когда нас с Л. нянюшка водила гулять мимо избушки Ираиды Ивановны и краснокаменного трактира Никиты Никодимовича, и в пору школьного возраста, когда так остро хотелось взять с угла Гранатного нарядного извозчика по первопутку, и в пору краткой Гейдельбергской зимы, когда мы с покойной Анечкой катались

по горам и вдоль Неккара, и в пору нашей с тобою жизни в Поповке, когда мы весело ходили на лыжах, когда я вез тебя на резвой паре на станцию...

Грустнее же всего потому, что нельзя эту печаль воспоминаний таким привычным мне образом незаметно перелить в сладость надежды, ибо ныне, как еще никогда не было в жизни, между прошлым и будущим стоит ужасное настоящее. Вот сейчас оно врывается в мою комнату раскатом тяжелых снарядов, скороговоркой пулеметной дробы и ужасным сознанием того, что во вчерашнем «блестящем» деле, батальон «молодцов латышей» под началом георгиевского кавалера, выбив из передового редута две сотни немцев и взяв тридцать человек в плен, *заживо* засыпал в нем несколько десятков раненых. Пусть не по злобе, а по необходимости — все равно. Ну как же мне не грустить? Быть может, такую смертью умер Ласк, Грацианов; быть может, такую смертью умру и я. Я пишу тебе все это и бесконечно удивляюсь тому, каким образом мне только грустно; почему я не бьюсь головою о стену, почему я еще не сошел с ума, и больше: я удивляюсь тому, почему мне не только «только грустно», но и «только грустно» далеко не всегда. Вчера после ужина во второй батарее, где за очень вкусно изжаренной дикой козой и за предложенной М-ти сигарой «*artistikos*» говорили о *заживо* засыпанных немцах, я вместе с Ю. с яркой и ясно осознаваемой радостью в душе и теле «шел» домой коротким, мерным галопом, отчетливо воспринимая красоту залитой лунным светом снежной поляны и всю стремительную энергию застоявшейся на холоде лошади. И сейчас вот я также очень рад тому, что Иван Владимирович купил в Риге очень удачные обои и что завтра к утру я буду сидеть уже в оклеенной оливковой бумагой комнате. Да, бесконечно широк диапазон души человеческой. Впрочем, все радости наши, конечно, крайне хрупки. Весело, весело, а вдруг — вдруг так и глянет на тебя «Оно»...

Мое письмо прервал обед. — К обеду пришел командир Н-ой батареи Такаршевский. Очень больной человек, страстно любящий музыку, знающий наизусть все русские оперы, состоятельный помещик, владеющий майоратным имением с нимфами и амурами... Когда-то он знал мечту, а теперь окончательно загублен «водкой», «бабой» и болезнью. Три часа он беззвучными остатками своего надорванного голоса орал те арии, которые он мечтал петь в опере, когда служил в оперетке. Переставая петь, он начинал сквернословить так, как не может себе представить никто, кто не слышал его. При всем этом он прекрасный человек: чистый, суровый и мужественный.

Когда он ушел, мне стало не только грустно, но совсем невыносимо на душе.

...Я зажег было лампу в своей комнате, думал было продолжать писать, но решительно не смог прибавить к написанному утром ни одной строчки. Боже мой, до чего же может быть изуродован человек!

Я повертел перо, потушил лампу и пошел гулять в лес. Лес подымался в ночь величественный и торжественный; он таинственно шумел и задумчиво осыпал меня медленно ниспадающим снегом. Я прошел на конюшню: кони стояли в своих денниках такие милые и чистые. Они дышали на меня своим чистым животным духом и так целомудренно смотрели мне в глаза своими грустными, покорными глазами.

Я долго стоял и слушал, как шумит лес, как дышат и жуют лошади. И понемногу становилось спокойнее и легче. Странно, что только одному человеку среди всех существ и созданий дана возможность осквернять Божий мир. Ведь вот Чадре я мог бы показать твою фотографию, а Такаршевскому, хотя он в сущности и очень хороший человек, никак нельзя.

Ходил я по лесу и много думал о том совсем непонятном, что значит жизнь и любовь. Я остро чувствую, что жизни никогда не сдержать тех обещаний, которые она дает человеку в любви. В сущности это ясно: ведь любовь обещает мне избавление от жизни. Как же жизни сдержать такое обещание?

Что-то очень режет глаза. Во всем теле гудит какая-то ломота, в ушах звенят телеграфные провода, которые сквозь ночь бегут куда-то. Мыслей у меня нет, хотя я весь в мыслях, как вершина горы в облаках. Картины и образы толпятся вокруг меня, но и разбиваются о меня, как волны о скалистый берег.

Ни над чем у меня нет власти, и все владеет мною.

Я каждую минуту перестаю писать и застываю в каком-то бесплодном оцепенении. Полчаса тому назад сел на постель и в минуту заснул. Проснулся от сердцебиения.

Встал, прошелся по комнате, освежился одеколоном, закурил папиросу и вышел в столовую, которую светлыми обоями «ампир» оклеивают Иван Владимирович с Е-м. Иван Владимирович посмотрел на меня своими темными, хитрыми, несколько калмыцкими глазами и, улыбаясь, заметил, что, когда я пишу письма, я решительно не пригоден для общежития. Чувствуя вину своего неучастия в оклейке окопа, я взял большие ножницы и стал обрезать кромки обойных полос.

У Киркегорда есть лирическое обращение к обоям своей комнаты; я мог бы сейчас обратиться с целой философской поэмой к обоям нашей будущей квартиры. Мимолетное как вечное, интимное — как вселенское, лирика — как космогония — вот волнующая меня тема.

К матери.

28 октября 1915 г.

Случилось страшное несчастье.

Убиты Калиняк-Грычановский и Вильзар. Калиняк убит наповал. Вильзар, у которого врачи насчитали около тридцати ран, жил еще несколько часов.

Как бесконечно грустно, как совсем некуда деваться, какое последнее отчаяние на душе. Ни одна смерть здесь не потрясла меня так, как смерть незабвенного, прекрасного Вильзара. Почему он умер, почему именно он?

Ты не знала его, но если бы тебе довелось познакомиться с ним, я знаю, ты любила бы его от всей души, ты была бы покорена его внутренней красотой.

Он не был настоящим русским, как ушедшие до него Рыбаков и Грацианов, он не был и немцем, — особенно не был тем современным немцем, победа которого над миром, если она будет, неизбежно рухнет, потому что она основана на измене своей подлинной сущности и на ложном утверждении себя. Но он не был и космополитом, т. е. индивидуальностью вне нации. Нет, он принадлежал к тем новым людям Европы, которые являются живыми центрами кристаллизации всего значительного и положительного в сущности и творчестве отдельных наций. Быть русским — означало для него прежде всего служить Германии. Быть немцем — означало прежде всего служить России. Но это двойное служение, которое он осознавал как свой долг, не было в нем служением двум Богам; оно было служением тому Богу нового, и в многообразии национальных индивидуальностей, единому человечеству, которого он с немногими другими был тихой, прекрасной зарей.

Как русский немец, он воссоединял в себе лучшие элементы германского и славянского начал; как инженер, физик и скрипач — он объединял собою практическую жизнь, науку и искусство. Эта сложность и многосторонность его национального и духовного облика придавала всему его существованию формы какой-то совершенно исключительной округлости и мягкости.

Прекрасно было его лицо: большой лоб, умные и добрые глаза, над которыми еле виднелись маленькие дужки приподнятых к переносице, почти бесцветных бровей, — все это чем-то очень особенным и характерным живо напоминало лица гуманистов. В несколько вагнеровском подбородке явно обозначалась энергичная волевая линия.

Не понимая вражды и не признавая войны, Вильзар воевал, как герой, как герой, он и умер. Мне кажется, что внутренним мотивом его сознательного и покорного пребывания на опасном посту было чувство, что относительно невинным во всем совершающемся на земле ужасе можно оставаться лишь при условии поставленности на карту и своей жизни. Впрочем, все догадки темны; о своем тайном диалоге со своим долгом и со своею судьбой он никогда не говорил. Как все истинно аристократические натуры, он при всей своей общительности и открытости был в известном смысле сдержан и замкнут. В нем была тверда его большая мужская воля, но одно-

временно он был во всем жизненном обиходе женственно нежен и мягок. Сколько прекрасного чувства жизни, сколько тонкого понимания таинственного смысла самых обыкновенных дней и часов ушло с ним в вечность могилы. Он как никто понимал умную беседу полупризнаний, полунамёков, тихую прогулку, задумчивость полуосвященной комнаты, психологичность самовара... Во всей его манере жить — делать свое маленькое дело в батарее, мечтать о своем большом деле в науке и жизни; вставать утром, ложиться вечером с книгой в руках, сидеть над шахматной доской, насвистывая арию графини из «Пиковой дамы»⁴³, незаметно примирять меня и командира, терпеть тяжелую хмурость Митрофана Евгеньевича и уверять, что ишиас⁴⁴ вовсе не болезненная вещь, стоять на батарее под огнем и рассказывать об этом так, будто это столь же легко и просто, как стоять под дождем, требовать от себя самого сурового отношения к долгу и делу и отговаривать других от такого же отношения, называя его бездарным педантизмом, — было так много благородной формы и строгой красоты.

Если война имеет какой-нибудь смысл, если ее защитники мечтают, что она в борьбе противоположных тенденций и интересов выкует нового гармоничного человека, то этот человек окажется неизбежно человеком типа Вильзара. В нем она как бы убила свою цель, свой идеал, свой смысл. И потому с его смертью все кругом стало темным, слепым и безумным. Ах, как тяжело жить, как бесконечно тяжело.

Вчера тело Вильзара перевозили в Ригу. Двадцать верст мы ехали верхом за гробом, который вздрагивал и кренился, дурно привязанный к лафету. На крышке гроба ненужно, мертво-символично трясся конец шашки и убогая пальмовая ветвь георгиевского венка. К концу пути мы ехали дождливыми сумерками. Прошли весь город, перешли через свинцово-мрачную, суровую Двину, и, наконец, внесли гроб на своих плечах в маленькую кладбищенскую часовню, уставленную тропическими растениями и наполненную медлительно-грустными звуками органа. После холода и мрака дороги часовня показалась райской обителью. Гроб, одинокий и трагический в пути на лафете, встал в цветную нишу спокойным и таинственно благообразным.

В часовне все было невероятно странно и спутано. Война с немцами. Немцами убитый полунемец Вильзар. Немец пастор, благодарящий на немецком языке Господа Бога за то, что он удостоил Вильзара пасть смертью храбрых за правое дело русского царя. Боже мой, какая бесконечная, беспросветная ложь! и где же?

Рядом с потрясающей, лютой правдой безумной смерти Вильзара. И такое соседство лжи и правды не где-нибудь в миру, а в храме Божьем...

Вильзар был убит через три дня после нашего батарейного праздника. К вечеру этого шумного дня мы: Вильзар, М-и, братья Г-ие и я, забрались в отдельную комнату нашего окопа и «под сурдинку» выпили бутылку Редерера. Этот эпизод праздника был крайне уютен. Мы весело пили, с грустью и радостью слушали игравший за окном военный оркестр и нежно, душевно и весело болтали друг с другом. Вильзар был в этот вечер предметом общих симпатий: М...и, впервые ближе познакомившийся с ним, был им прямо-таки увлечен; одухотворенный шампанским, Г-ий объяснял ему в любви. А через три дня мою еще живую голову отделяло от его уже мертвой, изуродованной головы всего только тонкое средостение гробовой доски (я шел у изголовья)...

Это у нас! А там, у немцев, убит Ласк. Это ужасная, в сфере философии, быть может, мировая, потеря. Он был крайне странный и глубоко оригинальный человек. Небольшой, сутулый, с опущенной и слегка на сторону склоненной, как бы к чему-то прислушивающейся головой, весь какой-то напряженный и нудящийся. В нем все было крайнею противоположностью легкости и радости. Его отношение к философии было роковою присужденностью к ней. Он любил только философию, но эта любовь при всей своей продуктивности была в известном смысле безблагодатна. Он страшно мучился ею. Она заставила его отказаться от той пышности и того богатства многомотивной жизни, соблазн которой жил у него в душе. Она надломила непосредственность его воли к личному счастью. Она заперла его одного, без прислуги, в его маленькую квартиру на одной из самых поэтических улиц Гейдельберга.

Когда он думал, он ходил на цыпочках, дабы не спугнуть своей нарождающейся мысли. В это время его правая рука каким-то судорожным движением старалась не то что-то схватить, не то что-то отстранить от себя, а тяжелый взор больших, темных, еврейских глаз неподвижно повисал в пустоте. Особенно же характерна была его манера говорить: взойдя на кафедру, он вначале долго молчал; в эти минуты лицо его застывало в египетской неподвижности; затем по лицу пробегала какая-то скорбная тень: то была мука мысли, принуждаемой войти в звуки и образы слов; наконец, у него раздвигались усы (усы, как у Ницше), раскрывались толстые, почти негритянские губы, и лишь много позднее с громадным трудом разжимались крепко стиснутые зубы. Первые слова он выталкивал с громадным трудом, но затем он начинал говорить все углубленнее, страстнее и вдохновеннее. Его лекции были бесконечно изощрены. Он запечатлевал в изумительно находимых им словах не то чтобы мысли, но как бы заревые отблески будущих мыслей. Он говорил со страшною пластичностью о царстве невидимых истин; он был визионером логических схем — и эти схемы цвели у него в мозгу

с яркостью каких-то фантастических цветов, пролетали над ним в образах фантастических птиц...

Насколько я слышал, Ласк убит во время большого немецкого наступления от Горлицы к Сану. Тело его не найдено.

Не приходило ли тебе в голову, читая и слыша, как много за последнее время умерло выдающихся людей, что они умерли все не от болезней, а от того безумия и страдания, что война принесла в мир?



1917 год